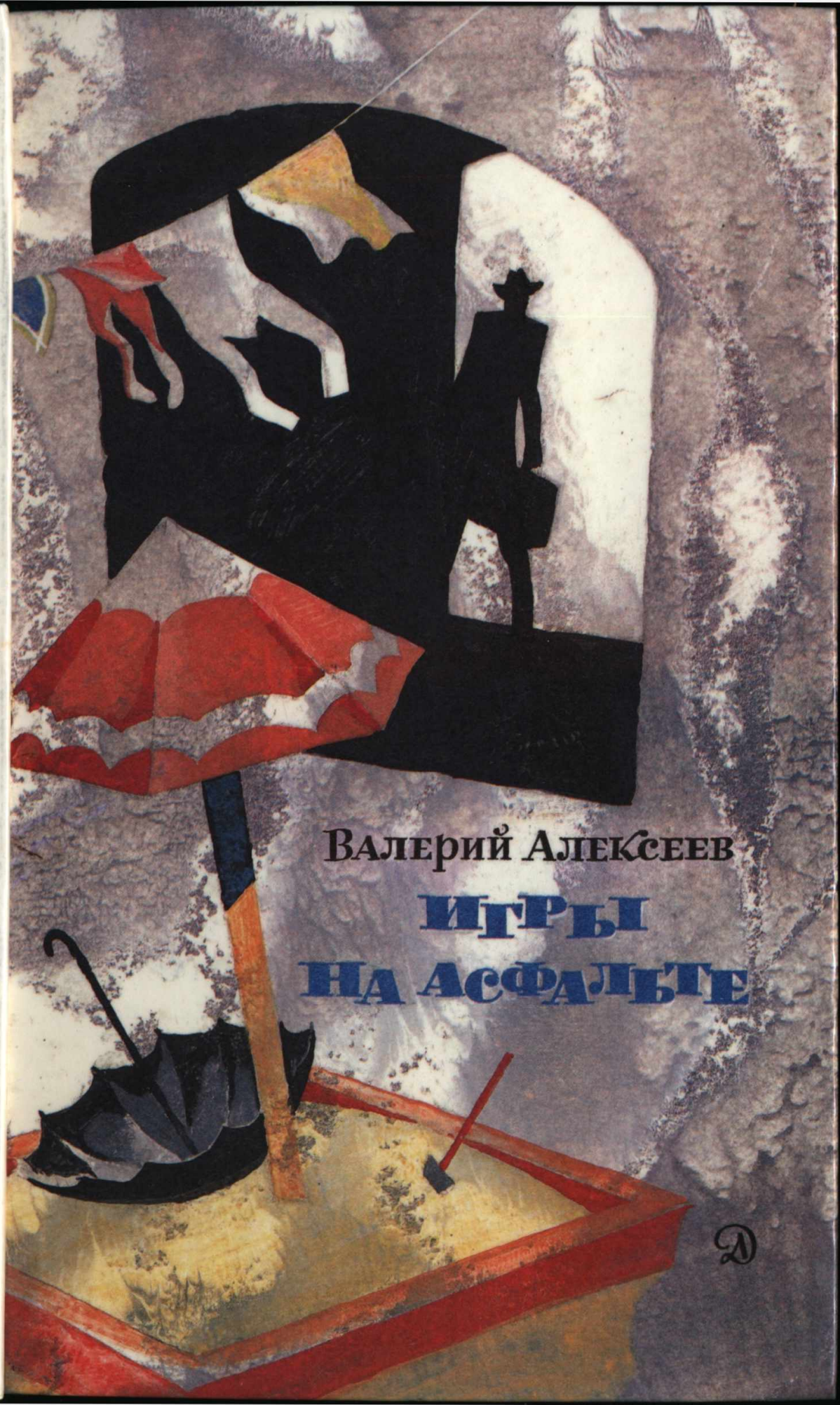
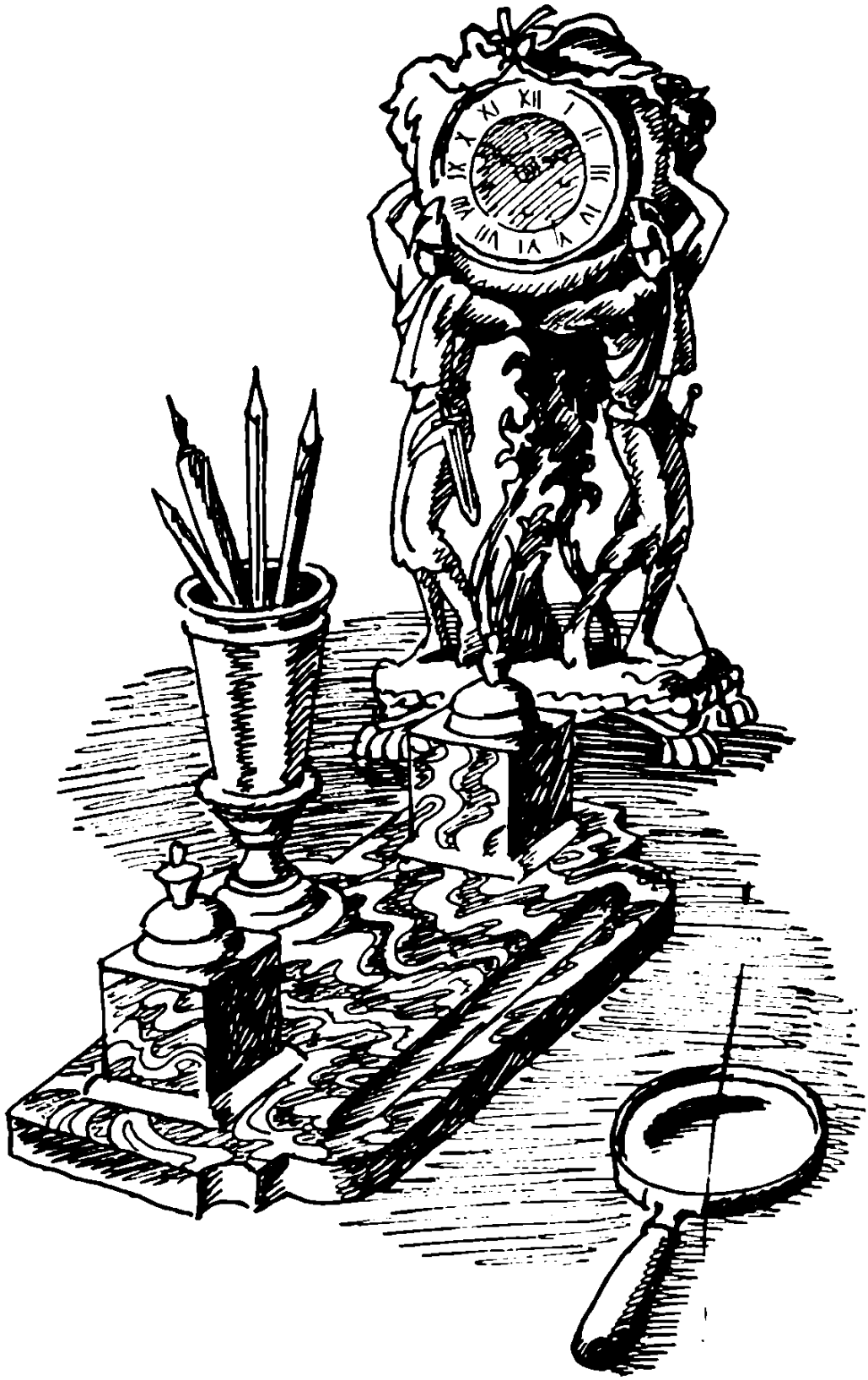


Валерий Алексеев

Игры на асфальте

65 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА»



Валерий Алексеев

Игры на асфальте

Повесть

Рисунки А. Тамбовкина

Москва
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1987

Р2
А47

Алексеев В. А.

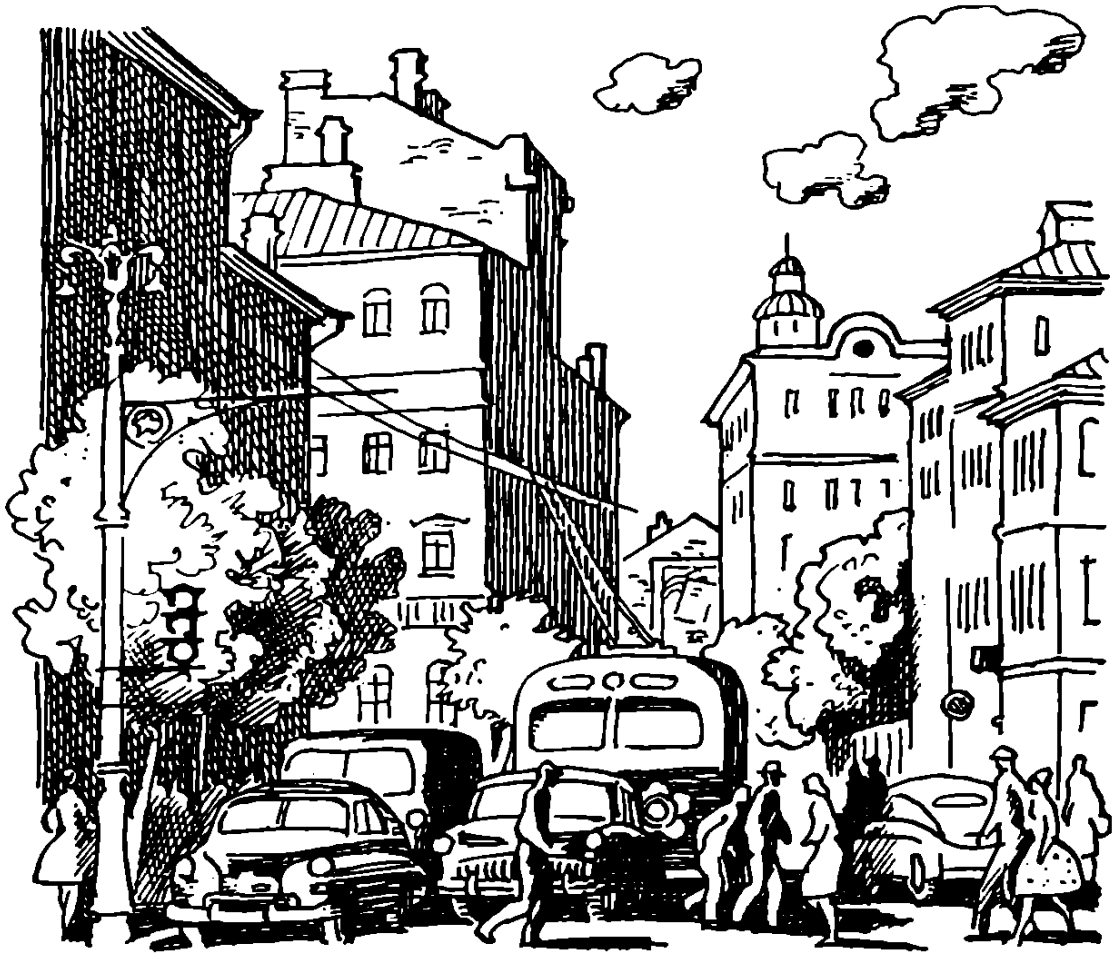
А47 Игры на асфальте: Повесть/Рис. А. Тамбовкина.— М.: Дет. лит., 1987.—191 с., ил.

В пер.: 65 к.

Герой повести — подросток 50-х годов. Его отличает душевная чуткость, органическое неприятие зла — и в то же время присущая возрасту самонадеянность, категоричность суждений и оценок. Как и в других произведениях писателя, в центре внимания здесь сложный и внутренне противоречивый духовный мир подростка, переживающего нелегкий период начала своего взросления.

$А \frac{4803010102-100}{М101(03)87} 162-87$ Р2

© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1987 г.



1

Было это давно. Так давно, что имелись еще во многих домах толстые линзы для телевизоров, наполненные дистиллированной водой, по Москве курсировали троллейбусы, расписанные ромашками и васильками, а в центральных газетах изо дня в день, как программы передач, печатались сообщения, в котором часу и над каким городом пролетает спутник или ракета-носитель.

Я в то лето с Максимкой сидел, со своим младшим братом. Мама на работе, отец в командировке, а у меня каникулы, деваться некуда. Люди добрые по лагерям, по дачам разъехались, а мы с братцем в городе, с утра до вечера в четыре глаза, вдвоем. Дачи у нас не было, а для пионерла-

геря, даже для самого младшего отряда, Максимка был маловат. В свои неполные пять лет он, правда, уже и книги писал, и в шахматы играл, но зато кормить его приходилось с ложечки — по крайней мере, мне. С ложечки проще, чем дожидаться, пока он все размажет и съест. Вундеркинды — едоки скверные.

Да, Максим в то лето книги писал. Буквы он еще в три года освоил, но читать не любил: утомляло его это дело. Брал тетрадку мою ненужную, выдирал из нее исписанные листы и большими корявыми буквами выводил по две строчки на каждой странице: «Кот и Катя играли вдаганялки. Кот вылес испат кравати и гаварит что это он спрятылся. А Катя ха-ха-ха засмиялас. Канец книги. Максим». Жаль, что эти тетрадки потом куда-то задевались. Наверно, сам же Максим их и уничтожил.

Посмотрели бы вы на него сейчас: метр девяносто пять, в плечах — косая сажень, такую махину уже Максимкой не назовешь, разве что «Максимилиан». И писателем он не сделался: это я пошел по стопам своего младшего брата, а Максим стал юристом. Кто бы мог подумать двадцать лет назад... Впрочем, может быть, история, которую я сейчас расскажу, повлияла на него в смысле выбора профессии. Даже не сама история, а те разговоры, которые после этого долго еще велись в нашем доме. Но, как пишут в детективных романах, не станем забегать вперед. Рассказывать я буду без спешки, предупреждаю заранее: мне нравится вспоминать о тех давно прошедших временах и о людях, которые были мне дороги.

Несмотря на девять лет разницы в возрасте (а может быть, и благодаря этой разнице, кто знает), жили мы с Максимкой мирно и даже дружно: делить нам с ним было нечего, у него свои бирюльки, у меня — свои. У него пуговицы пластмассовые разноцветные — тетка ему подарила бракованных целый мешок,— пистолетики ломаные, пластилин безобразными комьями, коробки с фантиками и прочая ерунда. У меня — пузырьки с реактивами, увеличительное стекло, перочинный нож, жестяная банка с гвоздями и шурупами. Хранили мы с ним все это хозяйство на общей этажерке, сделанной из Максовой детской кроватки, поставленной на спинку: решетки боковые служили основанием для полок, а полки папа

приделал, он у нас, как говорила мама, был Самоделкин, любил мастерить все из ничего. Макс великодушно уступил мне верхние полочки — ему до них было трудно дотянуться: бывало, отойдет от этажерки к стене и стоит, любуется недосягаемым моим имуществом. Лупой он особенно интересовался и иногда с моего разрешения пользовался: лежит на полу и рассматривает, пыхтя, какие-нибудь соринки и пушинки. «Дай ему, Гришенька, свое увеличительное стекло,— говорила мне мама,— а мы пока спокойно поужинаем».

Бывало и так, что, вернувшись усталая с работы домой, мама заставала Максимку в слезах: чем-то я ему не угодил — то ли в шахматы случайно выиграл, то ли в войну играть отказался. Кто сидел с малышами, тот знает, какая это беспрерывная маета. Мама огорчалась, начинала упрекать меня, что плохо за ребенком смотрю. А характер у меня тогда стал ломаться, портиться. Вдруг темнеет в глазах, начинаю трястись от злости и не помня себя кричу: «С утра до вечера как прикованный! Для чего заводили второго, кто вас просил? И не нянька я вам, нашли домработницу! Ненавижу я вашего Максимку, никакой из-за него жизни нет!»

Было раз, договорился до того, что хлопнул дверью и ушел, а куда — сам не знаю, иду по улице и бормочу: «К черту, к черту!» Хорошо, что папа в тот вечер приехал. В темноте уже нашел он меня в подворотне соседнего дома. Я остыл уже, ужаснулся тому, что наговорил, а что делать — не знаю. И Максимка-то слышал, как я кричал, что его ненавижу. Мы с мамой ссорились на кухне, а он стоял за стеклянной дверью и молча смотрел. Но отнесся к этому на удивление спокойно: не поверил — и все.

Парень он был довольно покладистый. Главное — экономически на меня не давил. Я имею в виду — как другие малыши клянчат: то купи да другое купи, а купилки у брата нету. Денег мама нам оставляла в обрез пять рублей старыми (по-теперешнему пятьдесят копеек), да и то только на крайний случай, лучше их было не тратить, мы и не тратили. За особые заслуги я покупал иногда Максу какой-нибудь пустячок — это целое было событие.

«А нам можно? — спрашивал Макс с беспокойством.— А нам хватит?»

Очень он боялся, что окажемся мы несостоятельными,

и посадят нас обоих в тюрьму, и мама с папой никогда больше нас не увидят.

Как-то вечером, вернувшись, мама взяла у Максимки его покупку — как сейчас помню, дешевые черно-белые фотографии города Таллина, склеенные в гармошку,— и что-то долго ее рассматривала, отойдя к настольной лампе, и по ее опущенным плечам, по наклоненной голове мне было видно, что она плачет. Маму очень тяготило то, что наши, как говорили в старину, обстоятельства иначе как стесненными назвать было нельзя. Будь ее воля — она превратила бы в праздник каждый наш день. Я сказал ей вполголоса, чтоб Максимка не слышал: «Мама, все в порядке. Да все в порядке, ну что ты?»

Мама вздохнула и вытерла слезы. Она хотела обнять меня за плечи и, может быть, даже поцеловать, но я отстранился: после всяких там объятий-поцелуев мне всегда становилось неловко, надо было быстро-быстро говорить что-то неестественно бодрым и прочувствованным голосом, а этого я не умел.

Как и многие подростки, я судил свою маму свысока, снисходительно признавая за нею право на слабости. Я считал, что на работу она вышла совершенно напрасно — просто устала от семьи и детей. Но ведь нужно же было правильно планировать свою жизнь: квалификацию она давно утратила, работала не по специальности, простой лаборанткой, и это доставляло ей лишние огорчения. Вдобавок три раза в неделю после работы она оставалась «на самодеятельность». Всем нам, и Максиму в том числе, было известно, что в юности мама мечтала стать певицей, и голос у нее был, красивое сопрано (я слышал не раз, как она пела, укладывая на ночь маленького Максимку), но помешала война, потом мое рождение, и папа вовремя не поддержал, не отнесся с пониманием, а в довершение всего родился Максимка.

Все мы поэтому были перед мамой не правы, и теперь она пыталась наверстать упущенное — вроде как бы в укор нам троим и в то же время чувствуя себя виноватой. «Да ну, связалась на старости лет! — говорила она, нервно смеясь, в ответ на наши расспросы.— Сама теперь жалею». Но оставалась на свои «клубные дни». И дома больше не пела — во всяком случае, для нас. Я только по случайным обмолвкам мог судить, что там, на службе

у нее, готовится какой-то юбилейный концерт и мама будет петь на этом концерте романсы Варламова. Иногда, забывшись во время стирки, мама тихонько пробовала голос: «Отчего, скажи, мой любимый серп, почернел ты весь, что коса моя?» — и тут же умолкала, как только догадывалась, что кто-то прислушивается.

Эта путаница в словах между серпом и косой представлялась мне несуразной, да и откуда мама, всю жизнь прожившая в городе (если не считать эвакуации в Среднюю Азию),— откуда мама могла знать о серпах и о косах? Про себя я твердо решил, что на этот концерт не пойду, притворюсь больным, если не придумаю ничего поумнее. И, как будто искупая вину перед нами, всякий раз после «клубного дня» мама приносила поздно вечером что-нибудь хорошее для нас с Максимкой, и непременно очень много: то большущий кулек черешни, то, например, полкило пастилы. А вы знаете, что такое полкило пастилы — не теперешней, которая неизвестно почему стала тяжелая и сырая, а настоящей, легкой, суховатой и мягкой одновременно? Это ж целая гора пастилы!

— Ну, транжира, ну и транжира! — ворчал я, чувствуя себя очень старым и мудрым.— Куда нам столько? Все равно Макс уже спит, а до завтра она зачерствеет.

— Молчи, дурачок,— конфузливо смеясь, отвечала мне мама.— Хорошего должно быть много!

Какие это были золотые слова... И как я был жесток и несправедлив к своей маме.

2

В тот день, когда эта история началась, я проснулся поздно, что-то около девяти, и мама уже давным-давно уехала на работу. Был «клубный день», и я не торопился вставать: чем позже поднимется мой братец, тем дольше он будет буйствовать вечером, и, может быть, укладывать его достанется маме.

Стояла середина июля, в мое окно било яркое солнце, в квартире нашей, двухкомнатной, новенькой,— мы два года назад ее получили, и она все еще нам казалась

огромной,— в квартире стояла особенная, пустая и чистая тишина, такую тишину оставляет тот, кто встал раньше всех и ушел из дому на цыпочках.

Я полежал, полюбовался тем, как солнце играет в моих пузырьках с реактивами и отражается от черно-желтой поверхности Максимкиного расписного столика. Восьмиметровая комната эта считалась детской, хотя по малолетству Максимка в ней еще не ночевал, но в скором времени должен был перебраться.

В хорошие времена наш дом был стопроцентно поющим: мы с Максимом могли дуэтом исполнить любую революционную или военную песню, и даже папа, совершенно лишенный слуха, любил за работой напевать что-нибудь самодельное (мелодии — никакой, слова — первые попавшиеся). Помню, как насмешил меня его непроизвольный экспромт:

— «Уйди, совсем уйди, я не хочу рыданья — во избежание дальнейшей красоты».

Воскресенье у папы начиналось с марша «Славянка», который можно было угадать лишь методом исключений:

— «Приколотим мы планочку гвоздиком, хотя лучше ее привинтить. Но шурупы давно уже кончились, и отвертку никак не найтить. Та-там, тарра-татам, та-там, тарра-татам...»

Так он пел и трубил, как безумный оркестр, пока мамина музыкальная душа не приходила в негодование.

— Ну что ж такое! — восклицала она.— Ну как не стыдно прекрасную вещь уродовать!

— Не стыдно! — весело отвечал отец.— Я у себя дома, что хочу, то и уродую.

— Детей же разбудишь!

— А я и собираюсь их разбудить!

Прихрамывая, папа входил в детскую и сдергивал с меня одеяло.

— Вставай, человек! Иди смотри, что я делаю!

Вся наша квартира была оборудована папиными руками. Не скажу, что шкафчики, полочки и стеллажи его производства являлись образцом элегантности — кухонную тумбу мама вообще называла кошмарной, но зато эта тумба стояла прочно, надежно и сама же мама не могла без нее обойтись.

— Ну, как? — спрашивал он, приглашая всех жела-

ющих полюбоваться очередным его кособоким произведением.— Ничего, вам не кажется? Фешенебельная вещь.

Папа знал, конечно, как выговаривается слово «фешенебельная», но он любил коверкать слова для своего собственного развлечения. Из «воскресенья» он, например, произвел «скривосенье», из «бокала» и «фужера» составил «фука́л»: «Содвинем наши фукалы!» Вообще это был человек, создающий свой мир, а не просто в нем обитающий: и самодельные словечки, и самодельная не-

уклюжая мебель, и настенные росписи, которыми он украсил наш убогонький туалет «совмещенного свойства» и тесную кухню (рисовал цветными мелками по сырой побелке, а потом фиксировал из пульверизатора молоком. В туалете вышли синие и желтые петухи, а на кухне — розовые и зеленые обезьяны, довольно-таки забавные),— все это было, как я сейчас понимаю, от упорного нежелания мириться ни с чем, заранее заданным. Все ушло вместе с папой: позабылись словечки — даже я их с трудом вспоминаю,— расшаталась и сгорела на свалках изготовленная папой мебель, а с настенной росписью получилась вот какая история: разъезжаясь по отдельным квартирам, мы с Максом, как это принято, сделали здесь, на старой, ремонт, а «фрески» оставили: сохранились они чудесно, и было жалко их замазывать. Пришел новый владелец, ахнул («Неужели тут во всех квартирах такая красота?»), но, узнав, что это любительское творчество, сразу соскучился, а через месяц я зашел к нему по какой-то унылой надобности и увидел, что росписи смыты, от них не осталось и следа, все закатано ровной масляной краской.

Воевал папа в танковых частях, ранен был в сорок третьем, но, в отличие от других фронтовиков, не любил рассказывать о войне. Когда я его спрашивал, как чувствуешь себя в «тридцатьчетверке» на полном ходу, он, посмеиваясь, отвечал: «Сквозняки со всех сторон, запросто можно радикулит получить».

Мне, помню, было немного обидно, что после ранения папа был демобилизован и так и не пересек на своем танке государственную границу, и в разговорах с приятелями я привирал, что он воевал до самой Праги, пока однажды кто-то (бывают дотошные люди!) не уличил меня в хронологической небрежности: когда же я в таком случае успел родиться?

Вообще-то в глубине души я не слишком одобрял папины дурачества: по моим тогдашним строгим понятиям, ему, инженеру и фронтовику, полагалось бы держать себя как-то степеннее. Я даже стыдился его в присутствии своих приятелей: возьмет сейчас и затрубит свое «тара-татам», с него станется.

Папа мало времени проводил с нами в Москве. Он то и дело выезжал на дальние объекты и работал там по

два-три месяца, что-то налаживая, вводя в строй и «осуществляя надзор»,— отчасти для того, чтобы поправить наш семейный бюджет, но и потому еще, что не умел жить оседлой размеренной жизнью. Собирался в дорогу он с легкостью кочевника: бывало, уходишь в школу — папа еще возится на кухне и трубит какую-нибудь «Самару-городок», а вернешься — его уж и след простыл. И с такою же легкостью он возвращался, сразу включаясь в наши домашние заботы и не создавая суеты, к которой склонны замотанные дорогой люди. Ставил чемоданчик в угол под вешалкой, наделял нас иногородними «гостинцами» — и тут же отправлялся в магазин с маминими поручениями, а то подвязывал фартук и начинал готовить еду. Готовил он мастерски — и тоже из ничего: четыре завалящих сардельки, сморщенных от старости, кусочек желтого сала, немного фантазии — и готово, как он говорил, «национальное блюдо Центральной Европы под названием «пфендики». Есть английское выражение «изи-уокер» — «человек, который с легкостью идет по жизни, легкий человек», вот таким «изи-уокером» и был наш отец...

Итак, я лежал, смотрел на комнатное солнце и думал о папе (разумеется, я думал о нем совсем не так, как пишу сейчас,— я даже не думал, а просто грустил) — и тут услышал голос Максимки.

— Люди! — звонко крикнул из другой комнаты мой младший братишка.— Люди, я тут, все ко мне!

Этому Макс научился у папы: с таким возгласом папа входил в дом, если приезжал рано утром.

Я помедлил с ответом, зная прекрасно, что процесс Максимкиного пробуждения необратим.

— Гриша! Ты почему молчишь, Гриша? — с беспокойством в голосе позвал меня Макс.

— Сыпь сюда! — крикнул я, и в коридоре затопотали босые ноги.

Я понимал: если я не встану сейчас и не побегу на кухню варить кашку, мне же обойдется дороже, этот человек потребует, чтобы я играл с ним — и немедля, безотлагательно — в танковую атаку, в войну миров, в подводную лодку, а у нас с ним целый день впереди, и до вечера мне и так еще играть да играть. Поэтому, воспользовавшись тем, что по дороге Максимка еще кое-

куда завернул, я выскользнул из постели, молниеносно оделся и через минуту уже озабоченно и деловито стоял у плиты.

Кашка у меня получилась на славу: то есть противнее я еще ничего не варил — вся в комках, с подгорелостями. И когда Макс, умытый и розовый, сидя за чисто вытертым кухонным столом, увидел тарелку, доверху полную моей стряпни, он содрогнулся.

— Это не кашка, а поганство,— сказал он тоскливо.— Сам ужинай такую кашку. Изверг рода человеческого!

Максимка повторил самое страшное мамино проклятье, которое когда-нибудь обрушивалось на мою голову. Нынче, завершив учебный год, я принес трояк по алгебре, вдобавок подрался с одним, которому стоило дать как следует, но, к сожалению, он дал именно мне, и я явился домой с козырьком школьной фуражки, надвинутым на самый кончик носа, чтобы скрыть ужасающий фингал. Но поди скрой: в фуражке спать не ляжешь. Вот тогда-то мама и назвала меня извергом человеческого рода. Я и сам чувствовал себя неловко, полагая, что давным-давно перерос эти низменные развлечения, но все-таки «изверг» — это было уже чересчур.

Тем не менее Максимку надо было кормить: ненакормленный, этот тип становится совершенно неуправляем. Поэтому скрепя сердце я проглотил оскорбление и начал операцию под кодовым названием «воздушный бой».

— Значит, так,— сказал я, зачерпывая первую ложку каши, а Максимка смотрел на меня подозрительно, но с любопытством.— С отдаленного, укрытого в лесной глуши аэродрома медленно поднялся тяжело нагруженный транспортный самолет...

Расчет был верный.

— Наш? — спросил Макс, и ложка с кашей оказалась у него во рту. Макс отчаянно замахал руками, вытаращил глаза, надул щеки, но поздно: дело сделано.

— У, подлый! — сказал он, с трудом проглотив кашу.

Тут главное — не действовать по шаблону, не повторять испытанные приемы. В ход пошли и «атаки истребителей батьки Махно», и лихие виражи над чьей-то стриженой макушкой, и всяческие обманные «иммельманы». В конце кормления вся стена была заляпана кашей, на пол страшно взглянуть, а самого Максимку, сытого и

уже покорного, пришлось вести в ванную и смывать с него то, что оказалось лишним. Знали бы родители, как мы развлекаемся во время еды!

Покончив с этим делом, я усадил Максимку за писание книг, а сам степенно, с сознанием исполненного долга, пошел взглянуть, нет ли чего в почтовом ящике.

В ящике, кроме газеты, лежало еще письмо от папы. Письмо было, как обычно, короткое и веселое, папа называл нас с Максимом «кукушатами», дразнил маму общим знакомцем Тамировым, который до сих пор маму помнит и клянется ее умыкнуть, а в заключение, как бы между прочим, сообщал, что «все раскрутилось быстрее, чем обычно» и что он вернется числа шестнадцатого и на целую неделю превратится в нашего домработника: «Буду стряпать вам, обстирывать вас, укрощать Максима и исполнять вам на расческе популярные песни».

В том, что я прочитал папино письмо, не было ничего необычного: на конверте папа всегда писал просто «Кузнецовым» — кто первый возьмет письмо, тот и вскрывает, хоть Максим, так у нас было заведено. И из Тамирова родители не делали секрета, этот Тамиров хотел в свое время жениться на маме, тогда мы с Максимкой были бы не Кузнецовы, а Тамировы, и была бы у нас другая жизнь. Мне эта идея не нравилась, я представлял себе Тамирова толстым, масляным, с жидким, сдавленным голосом, который идет откуда-то из третьего подбородка.

Прочитав письмо, я какое-то время сидел и размышлял, сам не знаю о чем, а потом вдруг подскочил и завопил как оглашенный:

— Ур-ря-а! Папа приезжает!

«Числа шестнадцатого» — это значит «шестнадцатого числа», то есть сегодня! Конец рабству, да здравствует свобода! Было от чего завопить.

Размахивая письмом, я побежал к Максимке.

— Эй, марака! Сегодня папа приезжает!

А Максимка даже не обернулся. Он сидел за своим столиком и в три ручья плакал: видите ли, сегодня он затеял военную книгу и у него никак не писалось слово «мессершмитт», а спросить старшего брата не позволяла гордыня, он вообще, когда карякал, ни с кем не консультировался. На одно это слово у Макса ушло две тетрадки: он его пускал и через «мистер», и через «мы-

сыр», а теперь сидел и ревел, ожесточенно замарывая все, что сумел написать.

Я присел рядом с ним на корточки, взял у него карандаш и на сырой от слез бумаге уверенно вывел — «мессер», с двумя, естественно, «с». А как дальше — и сам задумался: «Мессершмидт»? А может быть, два «т» на конце?

— Ты не знаешь, ты не знаешь! — зарыдал Максимка, вырывая у меня карандаш.— У тебя тройка по русскому, ты неграмотный!

Я терпеливо объяснил Максиму, что, во-первых, это не русское слово, а во-вторых, ни один уважающий себя военный не станет говорить полное название — просто «мессер», и баста. Для убедительности на этой же страничке я нарисовал черный самолет, а Макс пустил ему дым из хвоста и после этого сразу утратил интерес к батальной прозе.

— Пошли гулять,— сказал он, решительно вытер кулаком слезы и стал выкарабкиваться из-за стола.

Я больше не повторял, что папа приезжает сегодня: пусть для человека будет нечаянная радость. А кроме того, если хорошенько подумать, «числа шестнадцатого» и «шестнадцатого числа» — далеко не одно и то же.

Максимка подошел к окну, попросил поднять его на руки и, обхватив меня для верности за шею, выглянул во двор. Предосторожность не лишняя: мы жили на четвертом этаже и окно было распахнуто настежь. Писатель боялся высоты и от подоконников вообще старался держаться подальше.

— Да ну,— сказал он разочарованно,— никого людей нету.

В самом деле, в центре нашего двора, где грибочки, качели и прочая детская радость, паслись под надзором старушек несколько совсем уж незначительных малышей. Незначительных — с точки зрения Макса: он предпочитал компанию постарше, даже ровесниками своими пренебрегал.

3

Да, л ю д е й во дворе не было — ни для Макса, ни для меня. Не считать же, в самом деле, дворничихину дочку Тоню, которая делала вид, что самозабвенно играет сама с собой в классики. Я смотрел на нее и сердился. Собственно, я ничего не имел против Тони, скорее наоборот, но, во-первых, играть в «классики» в ее возрасте было уже поздновато — как-никак моя ровесница; во-вторых, если человек, оставаясь с собою наедине, не способен придумать себе интересное занятие, то он вообще ни на что не способен. Так я думал тогда, но позднее мое мнение изменилось: бывают в жизни случаи, когда, например, человек с таким нетерпением ждет чего-то или кого-то, что это ожидание парализует волю и фантазию, а иногда даже разум. Может быть, как раз в тот день, шестнадцатого июля, дворничихина дочка Тоня чего-нибудь или кого-нибудь очень ждала. А в-третьих... Да, имелось еще и «в-третьих». В-третьих, мне было ее жалко.

Не скажу, что это такое простое чувство — жалеть человека. Не всегда подойдешь и погладишь по головке: «Максимочка, бедненький, не плачь». Когда зимой, темным утром, я выходил из дома, а Тоня, помогая матери, долбила возле нашего подъезда лед, в сером ватнике, в толстом сером платке, в красных вязаных варежках, в шароварах, выпущенных на валенки, я старался на нее не смотреть: мне было стыдно и жалко ее, не сумею объяснить почему. Я не терзался соображениями, что вот, мол, «они работают, а вы их хлеб ядите», и неказистая одежда Тонина меня не смущала, в те времена сверстники мои одевались далеко не так празднично, как сейчас,— посмотришь, как нынешние школьники и школьницы высыпают на субботник в нарядных ярких курточках, шапочках и сапожках, ну, просто картина, «достойная кисти Лаперуза», как говорил мой отец. Тогда мы все, весь народ, жили победнее, и дворницкая роба на Тоне была вполне добротной, не драной, больше ничего и не требовалось. Точно так же, в ватнике, платке и шароварах, работала и Тонина мать, рослая женщина с красным грубым лицом и могучими руками, только рукавицы у нее были брезентовые. Напрягаясь, как мужчина, дворничиха

толкала впереди себя широкую блестящую лопату с огромной кучей снега и темных осколков льда. Завидев меня, Тоня всякий раз переставала тюкать скребком, и раскосые темно-светлые глаза ее смотрели на меня робко и умоляюще, а я, отворачиваясь, старался побыстрее проскочить мимо. Да, я не оговорился: у нее были именно темно-светлые глаза, цвет их мне никак не удавалось определить на бегу. Девочка она, как я сейчас понимаю, была миловидная, но все в ее круглом личике с темным румянцем на щеках и покрасневшим носишкой вызывало смутную, беспокойную жалость. Подняв по тогдашней моде воротник своего демисезонного всепогодного пальто, я спешил ушмыгнуть в подворотню, а она — я это чувствовал,— повернувшись, смотрела мне вслед. Потом раздавался хрипловатый окрик дворничихи: «Антонина, заснула?» — и скребок снова начинал слабо тюкать, откалывая кусочки льда.

Мать Антонины (ее звали «тетя Капитолина» или «тетя Капа», а мы, мальчишки,— просто «Капка») по стати и характеру могла бы быть атаманшей шайки лихих разбойников: ей ничего не стоило с метлою в руках очистить от влюбленных парочек подворотню, отобрать у пацанов футбольный мяч, пресечь беговую лапту (эта безобидная игра почему-то свирепо преследовалась общественностью нашего двора), заставить выключить выставленную на подоконник второго этажа радиолу,— вообще прекратить все, что молодежь затевала. Зато Капка собственноручно заливала зимою каток в дальнем углу двора, у забора, а дело это хлопотное, и никто ее об этом не просил. Не знаю, насколько эта могучая женщина была хороша как мать, но уж отца-то, во всяком случае, Тоне она заменяла. Никто во дворе не посмел бы Тоню обидеть, а сама тетя Капа, бывало, ее поколачивала. Мужа у нее не было, муж ее бросил, как говорили у нас во дворе, сразу после войны. Но это взрослое обстоятельство меня тогда не касалось, и почему мне было жалко Тоню — не знаю. Профессия дворницкая хоть и не была в те времена такой экзотической, как сейчас, когда живого дворника днем с огнем не отыщешь, но и позорной уж никак не была. Прекрасно ладил я со своим одноклассником, сыном дворника Колькой Дудыриным, и в голову мне не пришло бы стыдиться его или жалеть. Этот самый Колька тоже

помогал своей матери скрести по утрам тротуары, а потом бежал в школу и, бывало, в снежные зимы опаздывал, что учителя ему великодушно прощали.

Все дело, наверное, было в том, как Тоня на меня смотрела. Она как будто просила взглядом: «Пожалей меня» — или, наоборот, «Не жалей». Я один был отмечен этим вниманием: на других мальчишек Тоня если и взглядывала, то совершенно безразлично. Таков уж был ее выбор, и меня очень сердило, что она этот выбор не хочет или не умеет скрывать. Просто хоть на глаза не попадайся: сидит, бывало, с подружками на скамейке, шушукается с ними о чем-то, хихикает, как все, девчонка девчонкой, и тут невдалеке прохожу я. Даже не глядя в ту сторону, чувствую, что она замолчала и сидит, напряженно выпрямив спину, с виноватым лицом, как будто я застал ее за бог знает каким неприличным занятием. Мне вовсе не льстило ее особенное внимание: себя я считал довольно нескладным, даже корявым парнем, были и повиднее, и понахальнее, и повзрослее меня.

Должно быть, во дворе шли какие-то разговоры, потому что как-то раз отец шутя сказал мне: «Да, тещенька у тебя будет — не приведи господь», а мама посмотрела на него долгим взглядом и, усмехаясь, покачала головой. Я сделал вид, что не расслышал, и угрюмо углубился в чтение. Странный народ родители, странный и противоречивый: они торопят детей стать взрослыми и в то же время упорно не желают замечать, что дети взрослеют.

Так стоял я у окна, держа Максимку на руках, и смотрел сверху вниз на Тоню, а Максимка потихоньку сползал у меня с рук, сползал, пока не оказался на полу.

— Нет, гулять не хочу,— сказал он сурово.— Дома будем ждать папу. Ты мне лучше «Казахские сказки» почитай.

Я посмотрел на Макса с удивлением: вот ведь человек, все про папу расслышал, но не подал и виду. Характер! А насчет казахских сказок — это уж дудки, я казахскими сказками сыт по горло. Сам читать Максим ленится, но слушать любит, причем десятки раз одно и то же, без малейших отклонений: избави бог пропустить хоть абзац или даже переставить слово — он помнит все наизусть. Книги он осваивает полосами: месяц — только Перро ему подавай, каждый день Перро, пока не взвоешь. А потом

Перро летит в дальний угол, и начинается Андерсен, только Андерсен — и никто больше. Сейчас у Максима идет казахская полоса. В первый раз я и сам читал эти сказки с интересом, мне нравилось выговаривать имена (разные там «Кудайберген» и «Жумагельды»), но после десятого раза стал потихоньку свихиваться, и теперь эта книжка запрятана так далеко, что Максиму ее нипочем не найти.

— А между прочим, скоро одиннадцать,— сказал я, делая вид, что мне все безразлично: сказки так сказки, гулять так гулять.— Сейчас Сидоров выйдет.

Сидоров для Максима — большой человек, Сидорову пять уже давно стукнуло. Кучерявый такой, голубоглазый, на девчонку похожий, с конопушками на носу и очень шкодливый, Максимкин «заклятый друг».

Но на Максимку мой намек не произвел впечатления. Максимка присел на корточки возле этажерки и стал озабоченно искать «Казахские сказки». Ищи, мой друг, ищи, жизнь коротка.

— А между прочим,— сказал через некоторое время Максим, повторяя мою загадочную интонацию,— между прочим, я с Сидоровым вчера подрался, а ты и не заметил. Он мне глаза засыпал, а я его за это песком накормил. И между прочим, бабушка Сидорова тоже дерется.

— Ну и скверно,— заметил я.— С кем же ты теперь играть будешь? Ведь Сидоров — твой друг?

— Друг,— ответил Максимка, вывалив на пол груду детских книжек.

— А разве можно друзей песком кормить?

— Можно.— Он поднял голову, посмотрел на меня подозрительно и спросил: — Ты зачем «Казахские сказки» спрятал?

Вот беда! Я выглянул в окно — и тут, на свое счастье, увидел, что в центре детской площадки стоит кудрявый Сидоров, похожий сверху на одуванчик, и, задрав голову, требовательно смотрит на наши окна. Завидев меня, он тоненько прокричал:

— А Максим когда выйдет?

— Не знаю! — крикнул я в ответ.— Я спрошу!

— Скажи ему, Сидорову,— буркнул Максимка, сидя на полу и продолжая копаться в своих книжках,— скажи ему, что я уже одеваюсь.

4

Бабушка Сидорова была женщина опасная: очень старая, очень толстая, если убегать от нее — не догонит, а если не убегать — то надо иметь в виду, что она ходит с клюкой. Здоровенная такая клюка, с набалдашником, из орехового, что ли, дерева, сучковатая, но оглаженная. Без помощи этой клюки бабушка Сидорова не могла ни сесть, ни подняться — настолько была толста, а ходила держа клюку под мышкой, как служащие держат папки с бумагами. Огреть человека клюкой ей ничего не стоило, и она это делала неоднократно, защищая своего кудряша,— хорошо хоть не набалдашником, а другим, более легким концом. Поэтому, спустившись во двор, я не отпустил Максимку к Сидорову, а пошел с ним сам. Мне уже не впервой было разбираться со взрослыми, и все бабушки и няни притерпелись ко мне и принимали почти за равного.

Оба сорванца, Макс и Сидоров, подошли друг к другу поближе, оставив между собой около метра пространства, и остановились, подбоченясь и не здороваясь.

— Ну, чего? — спросил Максим.

— Ничего,— ответил Сидоров.

Бабушка Сидорова сидела тут же, рядом, на низенькой детской скамейке. Зловещую клюку свою она держала между колен. Лицо у нее было широкое, бледное, равнодушное, но с зоркими быстрыми глазками. Я с ней поздоровался, конечно, она не удостоила меня ответом.

— Иди сюда, Максим,— сказала она.

Максим сделал вид, что не расслышал.

— Кузнецов! — грозно окликнула его старуха.

Максимка медленно повернулся и, не глядя ни на меня, ни на старуху, приблизился. Назначение клюки ему хорошо было известно.

— Драться будешь? — спросила старуха.

— Я не знаю,— с достоинством ответил Максим.— Если он будет, то и я буду.— И, подумав, прибавил: — Конечно.

Бабушка Сидорова гневно насупилась, пожевала губами. Максим ждал. Я решил вмешаться.

— Дети сами разберутся, Анна Петровна.

Бабушка Сидорова повернулась ко мне.

— А я и тебя,— проговорила она без всякой видимой связи,— я и тебя, если надо, огрею.

Я покачал головой.

— Нет, Анна Петровна. Нельзя!

— Можно! — мрачно сказала старуха (в точности как малый ребенок) и даже притопнула ногой, обутой в мягкую домашнюю тапку с помпонами.— Вас можно! Вы

обои Кузнецовы распущенные! Матерь с вами не справилась — так я живо расправлюсь!

М-да, положение... Я поглядел в сторону Тониного подъезда. Кроме меня с бабушкой Сидорова да наших подопечных, Тоня была единственным живым существом во дворе. Незначительных малышей куда-то увели. Тоня уже не играла в классики, она сидела на подоконнике домоуправления не двигаясь и смотрела на нас.

— Ну, тогда мне и за вами придется смотреть,— ска-

зал я и сел рядом со старухой на скамеечку.— Иди, Максим, играй. Только, пожалуйста, без происшествий.

Максим исподлобья взглянул на меня и вернулся к своему приятелю. Оба забрались на самый верх кучи песка — не в песочнице, разумеется, а за ее пределами,— и сразу же оттуда стали доноситься задиристые голоса: «Это мой город!», «Нет, мой!».

— «Придется смотреть»!..— передразнивая меня, проворчала бабушка Сидорова.— Давно ли возгри утирать научился, а уже разговаривает. Поживи-ка с мое...

Я молчал. Бабушка лучше меня понимала, что, если я уведу Максима, ей придется несладко: Сидоров ее съест.

— Ладно, иди...— недовольно задвигавшись, сказала старуха.— Скучно мне от тебя. Я одна хочу посидеть.— Покосившись на меня, она добавила: — Небось не обижу.

И, неизвестно зачем, погрозила мне клюкой.

Если вы думаете, что, получив такую внушительную гарантию, я тут же помчался к домоуправлению беседовать с Тоней, вы глубоко ошибаетесь. Еще не изжиты были последствия раздельного обучения, когда девчонки учились в своих особых школах и были для нас все равно что существа из другой галактики; мы, пацаны, еще вспоминали добрые старые времена, когда в нашей школе не было ни одной писклявки. Окажись я с Тоней на необитаемом острове, мне бы не сразу пришло в голову подойти к ней и заговорить. Да и о чем говорить? В общие игры мы не играли («ручейки» и танцы под радиолу по вечерам — это для старших, нас оттуда не то чтобы выгоняли, но попросту игнорировали, давая понять, что без нас интересней), а предположить, что у нас с Тоней есть какие-то общие интересы — скажем, она тоже собирает марки, выпиливает лобзиком или увлекается химией,— предположить это мне показалось бы диким. Что там говорить: даже братья с сестрами, выходя во двор, тут же решительно расходились в разные стороны.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что, пройдя мимо Тони и бросив ей небрежно: «А, привет», как будто только что ее заметил, на что она почти беззвучно прошептала мне: «Здравствуй»,— я подобрал с земли подходящую дощечку, уселся на подоконник шагах в десяти и, насвистывая, принялся выстругивать перочинным ножом ятаган для Максимки. Ножик я, разумеется, всегда

носил с собой: как это можно выйти на улицу без ножа?

Я строгал и поглядывал в сторону песочницы. Бабушка Сидорова была заинтересована, чтобы малыши сидели там как приклеенные, но они встали и куда-то пошли, и она, тяжело опершись о клюку, начала подниматься, а потом они вернулись, волоча что-то тяжелое, и старушка начала садиться, но оказалось, что они приволокли навесную полку от газовой плиты (были тогда газовые плиты с чугунными полками, которые навешивались с обеих сторон) и стали пытаться разбить ее на части, и бабушка Сидорова поднялась и замахала клюкой. Я бы на ее месте не волновался: разбить эту штуку малышам не под силу, разве что лапы себе отобьют. А зачем они это делают — мне было понятно: если плита удачно расколется, могут получиться чугунные самолетики с горбатым фюзеляжем и прямыми крыльями, обработаешь их напильничком — и играй.

Небо, без единого облачка, было в тот день мягко-синего цвета, солнечный свет, заливавший наш каменный двор, тоже казался мягким, даже прохладным, как ветерок, и, должно быть по контрасту, все, что видел я вокруг себя, больно царапало взгляд: грубая кладка серых кирпичных стен, резкие трещины на светлом сухом асфальте, раскрошившиеся ступеньки подъездов, груда ломаных ящиков, куча каменного угля, по которому, как отголосок настоящей июльской жизни, настоящего, не городского, лета, задумчиво бродила светло-пегая, фестивальной расцветки кошка... Я чувствовал себя таким же одиноким, как она: все друзья-приятели в отъезде, Максимка во мне не нуждается, папа далеко, а от мамы в том моем возрасте меня отделяло расстояние уж никак не меньшее, чем от Тони. Что могла кошка потерять на антрацитовой куче? А сам-то я — почему я, собственно, здесь?

Я боялся, что Тоня встанет и ко мне подойдет: что с нее возьмешь? Одно слово — девчонка. Подойдет, например, и скажет какую-нибудь глупость: «Не сорвать, не поднять, вашу зелень показать». И захихикает, а я вынужден буду шарить по карманам в поисках чего-нибудь зелененького. А потом во дворе пойдут разговоры: мол, сидели все лето на подоконнике рядышком, как два голубка, и ногами болтали. Разговоры непременно пойдут: двор у нас глазастый. И вернутся Толец с Женькой — они

же проходу мне не дадут: дружба дружбой, но в этих делах мальчишки — народ беспощадный.

И в то же время мне хотелось, чтобы Тоня подошла: так уж странно человек устроен. А вдруг там не глупость, а загадка?

Ведь жалко мне не кого-нибудь, а именно ее. В голове у меня вертелась нелепая приговорка, придуманная, уж конечно, девчонками: «Я садовником родился, не на шутку рассердился, все цветы мне надоели, кроме...» Тоня была в своем единственном коротковатом платьишке, голубом, застиранном, с мелкими зелеными цветочками. Она сидела потупясь, опустив руки на колени. Я впервые заметил, что у нее длинная полузаплетенная коса, не крысиный хвостик, за который только ленивый не дернет, а красивая темно-каштановая полнометражная коса. Тоня и сама, видимо, знала, что коса у нее хорошая, а потому, перебросив ее через плечо, время от времени искоса на нее поглядывала. Мне пришло в голову, что идея заплетать волосы не настолько бессмысленна, во всяком случае, не более чем идея стричься «под полубокс». На ногах у нее были стоптанные красные босоножки, и, перехватив мой взгляд, Тоня подобрала ноги, поставив их поближе к стене. У девчонок в этом смысле чутье, они даже в темноте, даже отвернувшись знают, смотрят на них или не смотрят.

5

Раньше мы, Кузнецовы, жили на окраине, в одноэтажном доме барачного типа, и само понятие «двор» было для меня не вполне ясным. Я полагал, что двор — это что-нибудь вроде вытоптанного пустыря с чахлыми кустами сирени и беседкой, где по воскресеньям рубятся доминошники, за пустырем — ничейный сад, где растут одичалые яблони, дальше — овраг, кусты и ручей. Поэтому, переехав сюда, почти в центр, я не сразу понял, чему так радуются мои родители. «Вот это город! — повторял, вернувшись из магазина, отец.— Сразу чувствуешь, что живешь в городе». Все понятно: магазины, прачечная, троллейбусы, но, простите, гулять-то где?

Двор меня напугал. Этот каменный прямоугольник,

почти сплошь залитый асфальтом, две низкие подворотни, из которых дует мощный уличный ветер с запахом бензиновой гари и пыли, с трех сторон — высоченные стены домов, разноцветные окна по вечерам и кишащая ребятня... Такой городской ячейки я еще не видал.

В первые дни я бродил по двору ошарашенный, как Робинзон Крузо, и все вокруг представлялось мне неестественным: исковерканные «не по-нашему» имена (Гошка, Жека, Миня, Толец), непонятные выкрики («Атас, ребя! Капка! Обрыв!»), странные угрозы («Стыкнемся? Ща пендаля! А глаз на анализ?»), диковинные методы расправы вроде «пятого угла» в подворотне, бессмысленные словечки («смехотура», «спокуха», «ништяк»)... А ведь я приехал не с Камчатки, я москвич и родился в Москве.

Наши игры там, на окраине, были связаны с пересеченным рельефом и обилием мягкой открытой земли. В оврагах и бесхозных садах так хорошо было играть в прятки, а на открытых пустырях мы играли в особые игры, основанные на умении с размаху воткнуть в землю острый напильник, тяжелый гвоздь или нож. Скажем, чертишь себе где-нибудь за кустиком «город» — небольшой круг, на котором должны уместиться подошвы обеих твоих сандалий, и начинаешь дальний поход в сторону сараев, где притаился такой же город твоего противника. Вы поочередно втыкаете напильник в землю (до первого промаха) и чертите стрелы, и эти стрелы движутся навстречу друг другу и вот сошлись. Ты уничтожил каждую стрелку противника прямым попаданием напильника и прорвался к его городу, но враг, хитрец, оказывается, начертил свой город вокруг вросшего в землю булыжника, и твой напильник отскакивает от него, высекая искры, и хоть умри — такой город не взять. Здесь, во дворе, про эту игру «землемер» и не слыхивали, играли в «пристеночку», в экзотический «штандр», а на их жалкие прятки по подъездам и полуподвалам было просто странно смотреть.

Так прошла неделя, другая, я исправно ходил в школу — и боялся выходить в свой двор. Одноклассники мои жили в других дворах, и туда, как мне дали понять, лишний раз не следовало соваться. «Изметелят!» — пояснил мой сосед по парте Колька Дудырин, о котором

я уже говорил. «Изметелят? За что?» — не понял я. «А за то! — радостно ответил Дудырин и замахал в воздухе кулаками.— Хук слева, хук справа и апперкот! У нас ребята — во! Ништяк ребята! А у тебя свой двор, туда и ходи!»

Мама каждый вечер гнала меня гулять: «Иди, иди, дыши свежим воздухом!» Как будто в этом дворе воздух мог быть свежим. Я одевался и обреченно шел во двор, мечтая о том, чтобы мой братик поскорее подрос, и плевать я хотел на их штандры и пендали.

И вот однажды, когда я так мрачно стоял у стены, двое мальчишек моего возраста, Женька и Толец, подошли ко мне и, встав в двух шагах, принялись молча меня разглядывать. Я уже знал их по именам, знал и то, что Женька живет в соседнем доме, но одно окно его квартиры выходит в наш двор, в середине брандмауэра, и потому здесь его принимают, как своего. Женька был, как и Сидоров, баловень своей бабушки, почтенной пенсионерки союзного значения, которая так часто появлялась в школе, что ее даже прозвали «бабушкина Жека». Не «Жекина бабушка», а именно «бабушкина Жека» — так, оговорившись, кто-то однажды ее назвал. Отец и мать у Женьки были артистами, их фамилия «Ивашкевич» мелькала в газетах, а еще у Женьки имелась сестра-старшеклассница, в наш двор выходило как раз окно ее комнаты. Возле окна висела железная пожарная лестница, но об этой лестнице — особый разговор.

Короче, Женька заговорил со мной первый.

— Гриня? Я спрашиваю, Гриня тебя зовут?

— Ага,— ответил я.

— Ну, че стоишь? В штандр будешь?

Штандр я считал девчоночьей игрой и потому промедлил с ответом.

— Да он не умеет,— сказал Толец, белобрысый, худой и длинноносый, с бледными голубыми глазами и маленьким ротиком-ижицей.— Он из дярёвни.

— Сам ты из дярёвни! — обиженно возразил я.— Я коренной москвич!

Фраза эта была не самой умной, но что поделаешь? Обижаясь, мы все становимся глуповаты.

— Ах, коренной! — передразнил меня Женька, и оба они засмеялись.

Мы рассчитались, начали, и по неопытности я проиграл.

— Ща женить тебя будем,— деловито сказал Толец, и, обняв друг друга за плечи, мои новые знакомцы двинулись в ту сторону, где на скамеечке возле подворотни чинно сидели девчонки.

В панике я оглянулся: ведь женят, чего доброго, а я-то с ними играл, старался, как чудак. Спасение одно — уходить.

И я ушел. Мама, возившаяся с Максимкой, недовольна была, что я так быстро вернулся, вздохнула сокрушенно, но ничего не сказала. Она за меня огорчалась: там, за заставой, меня было с улицы домой не загнать, а здесь я сидел дома, «как запечник». Разве мог я ей объяснить, как пахнет сырой вечерний бурьян нашей окраины возле свалки строительного мусора... Уж во всяком случае, он пахнет не гудроном и пылью. Я начал торопливо снимать пальто, но тут в дверь позвонили.

— Ты чего? Выходи! — сказал Женька.

— А вы его не обидели? — спросила, выглядывая в прихожую, догадливая мама.

— Да не, ну что вы! — пробормотал Женька, изображая на своем кошачьем личике изумленное простодушие.

И я был выставлен во двор на расправу.

Оказалось, «женить» — это не совсем то, что я думал (а что я думал — и сам не знаю): «женить» по-здешнему означало подобрать кличку, причем всего лишь на время игры. Бывало, впрочем, что кличка и прилипала, если оказывалась удачной. Но за моим прозвищем Толец и Женька не стали далеко ходить. Толец, посмеиваясь, сообщил мне, что меня будут звать «Коренной». Я уже сообразил, что сморозил глупость, и стал протестовать.

— Ох ы! — сказал Толец, оглядывая меня с прищуром.— Коренной, да еще и брыкается. Что ж тебя, высочеством называть?

— А хоть бы и высочеством,— ответил я.

И меня прозвали «Маркизом». Кличка эта, однако, не привилась. В школе меня дразнили «Во-первых — во-вторых» — за манеру раскладывать все по полочкам, а во дворе я проходил как Кузя или Гриня, иногда Кузнец.

Кстати, у Тольца фамилия была Нудный. Мне всегда казалось замечательным это явление: наверное, нужно

немалое мужество, чтобы передавать такую фамилию от отца к сыну и даже гордиться ею, как гордился Толец. Никто не смел дразнить его фамилией: стоило только Нудному посмотреть на насмешника, как улыбочки сразу же исчезали. Толец, несмотря на худобу, был очень сильным от природы человеком — не руки, а рычаги, не пальцы, а пассатижи, лет через пять после описываемых событий он стал грозою двора, и все прочили ему уголовное будущее, но неожиданно в нем что-то переломилось, и сейчас он солидный «ответственный работник», и фамилия «Нудный» стала звучать очень и очень солидно.

Но я о дворе. К тому времени, о котором я рассказываю, двор был обжит мною до последнего уголка. Это оказался целый квадратный мир с закутками, с пустыми и мрачными подвалами, с «постройкой», которая появилась там, где тетя Капа заливала каток. Заложен был новый блок нашего дома, и мы целыми днями готовы были бродить по этой территории, полной чудес, пока нас не прогоняли строители.

И даже мрачный высокий брандмауэр, замыкавший наш двор с южной стороны, оказался источником радостей. Эта стена была оштукатурена как будто жителями страны слепых, пестро и небрежно, в нее можно было кидаться мячиками и снежками, а на высоте пятого этажа в ней одиноко красовалось окошко Маргариты Ивашкевич, сестры моего друга. Я слышал, как ребята постарше болтали, какие чудеса можно увидеть, если забраться по пожарной лестнице и заглянуть в Маргаритино окно. Толец мне хвастался, что лазил, но я ему не особенно верю, а вот я (теперь уже можно рассказывать) один раз все-таки рискнул.

Дело было поздним вечером, зимой, я учился уже в седьмом классе, вышел погулять, двор был пуст, покрыт мерзлым снегом, в подворотнях завывал ледяной ветер, и какой-то черт толкнул меня к пожарной лестнице: незашторенное окно Маргариты Ивашкевич горело.

Стараясь поменьше шуметь, я подтащил к лестнице пустую железную бочку (нижние ступени были высоко, с земли не дотянуться) и полез. Железные прутья, за которые я хватался голыми руками (в варежках ненадежно), были пропитаны адским холодом, ноги мои в

полуботинках скользили, и на середине подъема, взглянув вниз, в темную пропасть двора,— ветер вдоль брандмауэра рвал и метал, лестница гудела от ветра,— я пожалел-таки, что пустился в эту авантюру. Мне не нужна была Маргарита: она была слишком красива и взросла для меня, а я полагал, что все красивые девчонки кривляки; рассказывали также, что Маргарита — ужасная мальчишница, а я этого, естественно, тоже не любил. Помимо прочего, я прекрасно понимал, что то, что я делаю, некрасиво по отношению к Женьке Ивашкевичу, но с упорством идиота лез все выше и выше. При этом я представлял себе, как буду лежать внизу, на льду возле бочки, с переломанными костями, и сладко ужасался. А еще хуже было бы, если бы во двор вышла тетя Капа: я ни на минуту не сомневался, что она подняла бы шум, и все-таки лез. И будьте уверены, понимал еще, что совершаю предательство: Тоне, которую даже приятели Женька и Толька называли моею («Смотри, твоя идет!»),— Тоне то, что я делаю, наверняка не понравится.

Когда моя голова оказалась на уровне Маргаритиного подоконника, ноги соскользнули, и я, обхватив обеими руками боковую стойку, повис — отчего-то с внутренней стороны лестницы, спиною к стене.

Нашарив ногами ступеньку и прижавшись к обледенелой лестнице, как к родной маме, я отдышался — и только тут сообразил, что так, спиной к стене, подниматься намного безопаснее: в любой момент можно откинуться назад и, упираясь ногами в ступеньку, передохнуть и согреть дыханием руки. Правда, была опасность, что ноги опять соскользнут, но пространство между лестницей и стеной не позволяло провалиться до самой земли: я же все-таки был в пальто.

Так я долез до светящегося окна (чем-то это напоминало фильм о Пармской обители, только, наоборот, не спуск, а подъем): отсюда мир выглядел страшно, я висел, тесно зажатый между обледенелой лестницей и шершавой стеной, окна дома пылали со всех сторон и как будто кричали, внизу была кромешная тьма, и вдруг у меня закружилась голова, все огни завертелись, как в карусели.

— Мамочка,— сказал я дрожащим голосом, зная, что меня тут никто не услышит.

Потом головокружение прошло, и я осмелел. Теперь надо было оказаться с наружной стороны лестницы, иначе в окно не заглянешь. Приговаривая себе: «Так, так, правильно, Маркиз, правильно» — и уже забыв о том, для чего я, собственно, лезу, я совершил эту сложную операцию и, вися на обжигающем щеки ветру, заглянул в окно Маргариты.

«Живет моя отрада в высоком терему...»

Маргарита сидела на низкой тахте, закутавшись, как горбунья, в шерстяной платок, и неподвижно глядела в противоположную стену. Наверно, у нее был грипп, потому что она то и дело промокала зажатым в руке платочком свой красивый — но неправильно красивый, чуть приплюснутый — нос. Она была уже совсем как взрослая — такая, какою мы все сотни раз видели позже ее на экране. Маргарита ничего не делала, решительно ничего, просто сидела и смотрела, подобрав под себя ноги в синих шерстяных рейтузах. И тут я представил себе, что будет, если она повернется к окну и увидит мою скорчившуюся фигурку, мое красное лицо и слезящиеся от ветра глаза. И я поспешно начал спускаться.

На нижней ступеньке я все же сорвался и, больно ударившись о бочку, кубарем покатился по льду. Встал, прихрамывая, отошел и с гордостью посмотрел на светившееся в вышине окно.

«А в терем тот высокий нет ходу никому...»

Маргарита не могла меня видеть, я в этом совершенно уверен. Но через несколько дней, встретив меня на улице, она посмотрела так вызывающе и насмешливо и так тряхнула головкой в красивой вязаной шапочке, как будто хотела сказать: «Что, съел?» Нет, у девчонок фантастическое чутье, они и зажмурившись знают, когда на них глядят.

Когда мы с Тольцом приходили к Женьке (а это случалось довольно часто: квартира у них была огромная, путаная, с множеством комнат, было где посидеть, поболтать), Маргарита не выходила из своей комн ты: много чести, еще чего. Но однажды я зашел, а Жень не было дома, дверь мне открыла Маргарита. Я смутился, пробормотал что-то невразумительное (она была в ярко-красном платье, от которого даже падали отсветы н темные стены коридора) и хотел было уйти, но Маргарита лукаво сказала:

— Ты что, боишься? Заходи, у меня подождешь.— И, помолчав, с улыбкой прибавила: — Посмотришь, как я живу.

Вместо ответа я повернулся и бросился бежать по лестнице вниз. И только на третьем этаже услышал, как наверху захлопнулась дверь...

6

Так сидел я на подоконнике, строгал, думал и поглядывал то на Тоню, то на железную лестницу, украшавшую брандмауэр, и было у меня предчувствие, что сегодня что-то обязательно должно случиться.

Тут со стороны «постройки» послышались отчаянные крики. Я спохватился, посмотрел на детскую площадку — песочница была пуста и бабушка Сидорова исчезла. А за забором «постройки» вопили так, как будто там кто-то кого-то убивал. Я бросил строгать, спрятал нож, посмотрел на Тоню.

— Может быть, в котлован свалились? — сказала она издалека, как будто ждала моего вопросительного взгляда.— Там глубоко.

Я встал и пошел, потом побежал к забору «постройки».

Ну разумеется: как можно рассчитывать, что двое пятилетних детей будут целый час копошиться в песочке? Картина, открывшаяся мне через пролом в желтом заборе, была ужасающая: среди обломков досок и кирпичного крошева разлита была широкая лужа свежего вара, солнце достаточно его размягчило, и в самом центре этой черной блестящей лужи лежал на спине, махая руками и ногами, как жук, кудрявый чистенький Сидоров. Мой Максимка, благоразумно проложив мосточек из тонкой доски, добрался до попавшего в беду приятеля и усердно тянул его за ногу, а огромная бабушка Сидорова, голося: «Ах, что деется! Ах, что деется!», приплясывала на краю лужи в одной тапке: другая увязла в смоле и снялась с ноги. Сидоров, прилипший даже затылком, визжал как поросенок:

— Затя-агивает меня! Затя-агивает!

— Не бойся, не затянет! — крикнул я, пролезая через пролом.— Там мелко!

Невдалеке на кладке первого этажа сидели и хладнокровно курили двое молодых парней-строителей. Они не спешили на помощь и по-своему были правы: возле пролома на заборе висело соответствующее объявление, даже два, насчет «ходить по территории» и обращение к взрослым. Но во-первых, пролом давным-давно можно было бы и заделать, а во-вторых, хорошо ли злорадствовать, когда мучаются старушка и ребенок?

Завидев меня, Максим бросил ногу Сидорова, и она, естественно, тоже влипла. Я схватил братишку под мышки, перенес его на безопасное место, подшлепнул для порядка и пошел спасать второго. Тот перестал визжать и, протягивая ко мне руки, бессмысленно повторял: «М-мы... М-мы...» О чем тут говорить? Напугался ребенок. Я наклонился, осторожно отлепил от вара локон за локоном сидоровской прически, вызволил страдальца целиком и, стараясь не перепачкаться сам, вынес его из лужи. Поставил на землю рядом с бабушкой, вытащил из смолы ее тапку. Старуха даже не смотрела на вновь обретенного внука: держась за сердце, она глядела в небо и повторяла, теперь уже шепотом:

— Что деется... Да что же это? Что деется...

Вид Сидорова был печален. Спина и попа проасфальтировались основательно и стали непромокаемыми, но хуже всего дело обстояло с кудрями: они торчали черными сосульками, как косички у африканских модниц.

— Стричь придется,— сказал я старухе — и, наверное, зря, потому что она поворотила ко мне лицо и вдруг, побагровев, закричала:

— А-а! Все твой! Все твой!

И замахнулась на меня клюкою.

— Только попробуйте! — сказал я, стараясь не шелохнуться: сквозь пролом в заборе за мною наблюдала Тоня.— Если ударите, я его обратно отнесу. И прилеплю к тому же месту.

— Не надо, ба,— вдруг совершенно будничным голосом проговорил Сидоров, щупая свой затылок.— Пойдем голову стричь.

Старушка покорно опустила клюку, хотела было по-

гладить внука по голове, но раздумала и, пробормотав: «Ироды, ироды» — неизвестно, в чей адрес, скорее всего, Кузнецовых,— вставила ногу в тапку и повела своего кудрявого домой.

Строители, как по команде, бросили окурки, поднялись и неторопливо пошли по своим делам. За все это время, мне кажется, они не проронили ни слова.

— Как же это получилось? — строго спросил я Максима.

— Да очень просто,— стоя поодаль, ответил Мак-

сим.— Я говорю «не надо», а он шагнул. А потом сел. А потом совсем упал. И заплакал.

На этом мудреце не было ни единого пятнышка, хоть снимай его для плаката: «Чистота — залог здоровья». А вот меня Сидоров извозил: я обследовал себя и расстроился. На клетчатой (в черно-белую клетку) рубахе пятна вара были, положим, почти незаметны, но вот брюки от школьной формы сильно пострадали. Форма у мальчишек тогда была светло-сизая, как у гимназистов дореволюционной поры. Эта странная форма, придуманная какими-то суровыми и, скорее всего, бездетными женщинами, предусматривала ношение кителя с металлическими армейскими пуговицами. Китель, наглухо застегнутый, со стоячим воротником, который тер шею, и с пластмассовым подворотничком — я его чистил ластиком,— был без наружных карманов (нечего, мол, в карманы руки совать, меньше дряни в школу натащите), и, чтобы достать самописку из внутреннего кармана, приходилось расстегивать пуговицы на груди и лезть буквально за пазуху. Кителя на мне сейчас, разумеется, не было, это к слову пришлось, но форма куплена совсем недавно, и мама категорически запрещала мне надевать школьные брюки для выхода во двор.

— Глупый человек Сидоров,— заметил Максимка, подойдя поближе и сочувственно меня оглядывая.— Ему ничего не будет, только обреют наголо, а нам попадет.

— Бензинчиком надо,— застенчиво сказала издали, стоя в проломе, как в рамке, Тоня.— Пойдемте к нам, я очищу. У мамы есть бензин.

Я покраснел: еще чего не хватало — сидеть без штанов в квартире у тети Капы. Тоня растерянно улыбнулась и тоже покраснела.

— Ладно,— буркнул я.— Нальешь пузыречек, я дома сам все сделаю.

— Как хочешь,— коротко ответила Тоня.— Пошли.

Мы с братом вылезли через пролом, миновали детскую площадку, пересекли двор. Я от души порадовался, что во дворе никого не было, хотя Тоня шла впереди, не оглядываясь, как будто не имея к нам никакого отношения. Я вел за руку Максимку, а точнее, это он меня вел: Максимка был человек любопытный и обожал посещать

чужие дома. Наверно, все же ему было немного боязно, потому что, помолчав, он спросил:

— А тетя Капа дома?

Тоня ничего не ответила: должно быть, не расслышала вопроса.

Когда мы подошли к Тониному подъезду, я машинально поднял голову и посмотрел на Маргаритино окно. После своего зимнего восхождения я часто поглядывал на это окошко — и не скажу, что всегда со стыдом, порою и с гордостью: все-таки я э т о с д е л а л.

И тут я заметил в окне лицо человека. Мне показалось, что это Женька, но во-первых, было трудно разглядеть на такой высоте, а во-вторых, лицо сразу же исчезло: пропало в темной глубине, как будто погасло.

Конечно же, я обрадовался: может быть, Женьке надоело сидеть на даче среди редиски и флоксов и он вырвался в Москву? Женька терпеть не мог свою дачу и часто жаловался: «Купили ее на мою голову. За лето весь протухнешь флоксами, просто тоска». Женька был городской человек, босиком по земле ходить брезговал, про грибы и ягоды он говорил: «Терпеть ненавижу», рыбалка его тоже не интересовала («Охота мне копаться в банке с кишечнополостными!»). Легко можно представить себе, как он мучился все лето на даче: целыми днями сидел на веранде в шезлонге и от тоски читал полные собрания сочинений, все тома подряд, включая письма и комментарии. Учительница литературы даже его побаивалась: Женька был единственный в классе, кто прочитал всего Льва Толстого, не говоря уже о Дюма, Гюго и Конан Дойле, а человек он был не такой, чтобы знания свои скрывать.

Мне было неприятно, что Женька мог увидеть нас с Максимкой идущими вслед за Тоней, поэтому, прежде чем войти в подъезд, я остановился, поправил Максимке штаны, носки, сандалии и вообще сделал вид, что мы развлекаемся сами по себе.

Максим истолковал эту заминку по-своему. Он вопросительно посмотрел на меня и спросил шепотом:

— А она нас не прогонит?

Ему, наверно, виделось, как могучая тетя Капа гонит нас из своего дома метлой.

— Мы можем здесь подождать, на крылечке,— ответил я.— А Тоня вынесет.

Тоня услышала эти слова. Она остановилась на крыльце, обернулась и сказала Максимке:

— Мама у меня добрая.

Должно быть, на лице у Максимки отразилось недоверие, потому что, помолчав, Тоня добавила:

— Она в Марьину рощу уехала.

И, как я ни тянул время, нам пришлось войти в подъезд вместе с нею.

7

Тоня жила на первом этаже в странной квартире, дверь которой выходила не на лестничную площадку, а прямо в тамбур возле парадного входа с улицы. Пока она доставала из кармашка ключ и открывала квартиру, я с некоторым удивлением ее разглядывал. Так близко я ее еще не видел, и меня удивило, что Тоня — вовсе не хрупкая слабенькая девчушка, которой она мне всегда представлялась. Она была одного роста со мной, плечи ее казались даже широковатыми из-за рукавов «фонариком», резинки которых врезались в полные загорелые руки. Ноги у нее тоже были крепкие и загорелые и фигурка совершенно взрослая, вот только платье, застиранное и полинявшее, было тесное и короткое не по возрасту. Возясь с замком и, видимо, нервничая под моим взглядом, она снова перебросила косу на грудь, и стали видны застежки с крючками посреди спины, к этим крючкам так и вязалось слово «жалкие». Я представил себе, как неудобно, должно быть, застегивать эти крючочки, и перестал на нее смотреть. Тут Тоня открыла наконец дверь, обернулась и с улыбкой, все так же виноватой, проговорила:

— Вот тут мы и живем. Заходите.

Любое жилье имеет свой собственный запах, здесь пахло сеном, и я, заглянув из тесной передней в комнату, сразу понял почему: за зеркалом в черной раме, висевшим прямо напротив двери, торчал пучок то ли сухой травы, то ли засохших цветов («Для свежести»,— на Максимкин вопрос коротко ответила Тоня). Комната была единственная, маленькая, с крохотной кухней за перегородкой.

Круглый стол на толстых ножках, диван с огромными валиками, кровать с высокими никелированными спинками, просторный, как чулан, платяной шкаф — все мощное, массивное, под стать тете Капе; по комнате можно было передвигаться только протискиваясь. Письменного стола и книжных полок я не заметил: наверно, Тоня готовила уроки за обеденным столом, а книжки свои держала где-нибудь в «шифоньере». Впрочем, я смотрю на это жилье сегодняшними глазами, а тогда оно не

показалось мне ни слишком бедным, ни чересчур тесным. Единственное, что, кроме пучка травы за зеркалом, привлекло мое внимание,— это множество фотографий на стене, объединенных в одну, такую же черную, как и у зеркала, рамку: так делают в деревнях.

— Садитесь, я сейчас,— сказала Тоня и показала на диван, спинка которого была накрыта кружевной салфеткой.

Макс стоял возле стола, расставив ноги и подбоченясь: отсутствие тети Капы придало ему храбрости.

— А где лопаты? — спросил он.

Макс, разумеется, был уверен, что квартира дворника должна быть заставлена метлами, лопатами и ломами.

— Мы их ставим в подсобку,— вновь покраснев, ответила Тоня.

— Ну, ладно,— сказал я нарочно грубо,— нечего время терять, давай твой бензин.

Тоня молча повернулась и ушла за перегородку. Максимка проворно сбросил сандалии, забрался с ногами на диван и принялся разглядывать стоящих на диванной полочке белых каменных слоников, а я решил не садиться, чтобы поскорее можно было уйти.

— А это что? — спросил Максимка, показывая на окно.

На подоконнике за тюлевой занавеской стояла трехлитровая стеклянная банка с японским грибом, который плавал на поверхности мутно-зеленой жидкости и был такой толстый, что начал уже слоиться. Пожалуй, это был последний японский гриб, который я видел в своей жизни. У нас за заставой имелось две таких банки, и я сам любил пить кисло-сладкую «грибную» водичку, но потом кто-то кому-то сказал, что кто-то где-то прочитал, что японский гриб вызывает рост раковых опухолей, и мама наши грибы выбросила.

— Это такой, наверно, аквариум,— сказал я, зная, что, если Максимке все объяснить, он тут же захочет попробовать.

Максим слез с дивана, подбежал к окну и стал озабоченно рассматривать банку.

— Но почему-то рыбок не видно,— разочарованно заметил он.

И тут мне в голову пришла одна мысль. А что, если

Женька приехал в Москву всего на часок: набрать новых книг или там помыться в ванной — и обратно. Тогда ведь я его не застану.

— Тонь, а ты правда сможешь отчистить? — спросил я.

Тоня тут же вышла из-за перегородки с бутылью в руках.

— Конечно, смогу! — сказала она обрадованно.— Я уже делала.

— Ну, хорошо. Тогда сиди там, на кухне, и не выходи.

Она поспешно скрылась. Не разуваясь (для скорости), я снял штаны, отдал их Максу.

— Отнеси.

Макс выполнил указание с таким спокойствием, как будто это совершенно естественно, что человек, придя в чужой дом, тут же снимает штаны. Вернувшись, он снова подошел к подоконнику и погрузился в созерцание гриба.

— Странно, странно...— бормотал он про себя.— А может, это одна такая большая рыба?

А я уселся на диван и на всякий случай задрапировал голые колени скатертью.

— Смотри не прожги! — крикнул я Тоне.

— Ну что ты! — отозвалась она.

Я принялся размышлять: кого же я видел в окне, Женьку или Маргариту? Большая разница: Маргарита мне не нужна. То есть я бы с удовольствием на нее посмотрел, но лучше издали. Но если это был Женька, то он не мог меня не заметить, даже случайно подойдя к окну: во дворе, кроме нас с Тоней и с Максимкой, вообще никого не было. Женька заходил в Маргаритину комнату только по одной надобности, а именно — чтобы выглянуть в наш двор: окно его комнаты выходило на улицу. Так что же, он не хотел, чтобы я его заметил? Прятался от меня, чего доброго? Ну нет, за Женькой таких странностей не числилось. Он должен был бы открыть форточку, окликнуть меня, но он этого не сделал. А если Женька не выглядывал во двор, тогда что он делал в Маргаритиной комнате? В семье у Ивашкевичей было заведено: не шастать без нужды по чужим комнатам, не беспокоить попусту друг друга. Даже Женькин отец стучался, когда хотел зайти к матери или к бабушке. Сама же Маргарита охраняла свою комнату, как неприступную крепость. Бывало, «бабушкина Жека» спрашивает через дверь: «Риточек,

можно к тебе?» А Маргарита отвечает: «Нельзя, я занята»,— и бабушка послушно отходит. Я уже говорил, что лукавое Маргаритино предложение «заходи, посмотришь, как я живу» повергло меня в смятение. Для приезжих у Ивашкевичей была особая комната, которая, сколько я помню, всегда пустовала. Я о такой странности только в книжках читал и очень был удивлен в первый раз, когда Женька равнодушно сказал: «Туда не надо, это гостевая».— «Гостиная?» — спросил я. «Нет, для гостей».— «Ну и что? Я тоже гость»,— нахально возразил Толец. Мы искали пространство для испытания портативной катапульты, на улице лил дождь, а дело было, как вы сами понимаете, спешное, в комнате у Женьки места не хватало, а коридоры извилисты. «Ты гость,— резонно ответил Женька,— но ты же у нас не ночуешь».— «А если я останусь ночевать?» — «Оставайся, тогда откроем». На это Тольцу сказать было нечего, он выстрелил из катапульты на кухне и разбил там окно, что, разумеется, никому не понравилось. «Придется вставлять»,— сказала «бабушкина Жека», маленькая старушка с коротко постриженными голубовато-седыми волосами. «Тоже мне, буржуи несчастные! — брюзжал Толец, замеряя «сантиметром» окно.— Целая комната пустует, в кухне стрелять приходится...» Через час пришел со стеклами Нудный-старший, сутулый долговязый мужчина с таким же, как у Тольца, маленьким горестным ртом. Он быстро и ловко застеклил окно, извинился и ушел, и в течение двух недель Толец после школы не появлялся на улице. Вот такая история.

— Максимочка, иди сюда! — позвала с кухни Тоня.

Максим уже занимался самоуправством: он снял салфетку, которой была накрыта банка с грибом, и пытался растормошить гриб неизвестно откуда взявшейся столовой ложкой.

Должно быть, то, как Тоня произнесла его имя, показалось ему странным. Мне — тоже. Тоня сказала «Максимочка» легко и ласково, как будто не в первый раз, как будто это был ее братишка, Максим даже завертел головой, словно пытаясь понять, откуда донесся этот голос.

— Тебя зовут,— сказал я ему строго.— И прекрати бесчинства, ты не у себя дома.

Максим пошел на кухню и торжественно вынес мне брюки — почищенные и даже выглаженные. Я оделся, оглядел себя — на брюках не было ни единого пятнышка.

— Ну как? — спросила, не выглядывая с кухни, Тоня.

— Порядок! — ответил я.— Здóрово!

Тоня вышла, я стоял посреди свободного пространства комнаты, как в ателье, она обошла меня со всех сторон, присела, одернув платье на круглых коленках.

— Вот тут немного осталось,— тихо сказала она и показала пальцем на нижнюю кромку — у самой «подковки».

Я смотрел на ее ровный пробор и думал, что все-таки хорошая она девчонка, жаль только, что такая... виноватая. А может быть и так: виноватым перед нею чувствовал себя я сам и это каким-то образом ей передавалось.

— А, ерунда! — ответил я как можно более беспечно.— Послушай, Антонина, ты очень сейчас занята?

Она поднялась, удивленно посмотрела мне в лицо и тут же отвернулась.

— Нет, ничего,— сказала она.— А что ты хочешь?

— Посиди с Максимкой полчасика, он парень не буйный. А я к Ивашкевичам забегу. Похоже, что Женька приехал.

— Женька — не знаю,— проговорила она, глядя в сторону.— А вот Рита точно приехала, я ее видела утром.

И снова быстро и внимательно взглянула мне в лицо. Глаза у нее были, оказывается, рыжевато-зеленые, цвета крыжовника, то темные, то светлые — как посмотреть.

«Неужели я так обознался?» — расстроившись, подумал я. Ну конечно, это была Маргарита, в какой-нибудь косыночке на голове: у Женьки не могло быть такое длинное лицо, и только Маргарита могла смотреть в наш двор так равнодушно и бегло: в нашем дворе интересов у нее не было.

— Она очень спешила на какую-то ва-ажную встречу,— помолчав, добавила Тоня, вроде бы и не передразнивая Маргариту, не имитируя ее странную, я бы сказал — мяукающую интонацию, но интонация эта чувствовалась в самих словах: «ва-ажную встречу».— Так что ты вряд ли ее застанешь.

Что-то мне не понравился ее взрослый и слишком смелый взгляд. Что такое, на самом деле? Чуть ли

не весь мир догадывается о моем восхождении на пожарную лестницу. Да нет, просто мнительность: сделаешь что-нибудь идиотское, а потом всю жизнь ходи и думай, что все только об этом и говорят.

— Не очень-то мне нужна твоя Рита,— пробормотал я.— Просто узнать, когда Женька вернется.

Какое-то время мы стояли и молча смотрели друг на друга, а потом я заметил, что Максимка мой с большим любопытством глядит на нас снизу вверх и лицо у него хитрое. Я понял, что он сейчас изречет какую-то пакость,— и не ошибся.

— Смотрите не поженитесь,— сказал Максим.

И, заложив руки за спину, с независимым видом пошел к подоконнику.

Это было сурово с его стороны. Я думал, что Тоня тут же опрометью выбежит из комнаты, но вместо этого она, как ни странно, засмеялась. Она смеялась тихим, совершенно женским смехом, и перебирала свою косу, и смотрела мне в лицо, а я не знал, куда деваться. Ну Максим, ну охальник, погоди у меня!

— Ты что это глупости говоришь? — спросил я его.

— Совсем не глупости,— сварливо ответил он, повернувшись к нам спиной.— А то стоят и стоят. Как будто танцевать собираются.

Тут Тоня бросилась к нему и, смеясь, начала его тормошить. Максим сделал вид, что он от нее отбивается — братишка мой был не большим любителем нежностей,— но в конце концов он даже позволил ей поднять себя на руки.

— Пускай идет,— сказал Максим, как будто бы меня тут не было.— А мы с тобой пойдем под эту, как ее, под сопку.

Я понял: таким образом Максим расплачивался со мною за то, что я решил оставить его здесь, у Тони. Он был ужасно ревнивый, мой Макс, и к Ивашкевичам меня особенно ревновал, потому что я ни разу не брал его туда с собою.

— Да не под сопку, глупыш! — смеялась Тоня, целуя его в щеки, а он то ли отворачивался, то ли подставлял одну и другую.— Да не под сопку, а в подсобку, в подсобное помещение.

— А я и говорю «в подсобное помещение»,— возразил

Максим, он, как и всякий писатель, не любил, когда его поправляли.— Так пойдем?

— Конечно, пойдем!

— А он пускай идет к своим Ивашкевичам.

И я пошел навстречу, так сказать, приключениям.

8

У Ивашкевичей не было своего двора: точнее, двор имелся, но это было тесное, совершенно глухое пространство, заставленное мусорными ящиками и наполовину засыпанное кучей каменного угля. В таком, с позволения сказать, дворе не то что гулять — шагу ступить было негде. Да еще какой-то деятель разместил там свой железный гараж, оказавшийся, по-видимому, ненужным, потому что висячий замок на гараже приржавел к воротам. Туда, в этот двор, по черной лестнице выходила с мусорным ведром только домработница Ивашкевичей Шура. Другие жильцы этого дома поступали проще: они выбрасывали мусор прямо через кухонное окно.

Дом Ивашкевичей был, как говорил наш папа, купеческой постройки. Высокий и узкий, семиэтажный, с готической башенкой на крыше и с вертикальным выступом посередине фасада (в этом выступе, который Женька называл «фонарь» или, по-архитектурному, «эркер», помещался кабинет «бабушкиной Жеки»), без лифта, он стиснут был двумя соседними зданиями: справа — трехэтажным старым особняком с кариатидами и всяческой лепниной (там теперь помещается какое-то посольство), а слева — нашим огромным многоподъездным послевоенным домом. Я все удивлялся тому дореволюционному купцу: что заставляло его громоздиться на таком крохотном пятачке, когда рядом имелся пустырь, который теперь занимает наш дом? Волчьи законы капитализма. На каждом из семи этажей купец соорудил по одной квартире, и было странно, поднимаясь по лестнице, видеть на площадке единственную дверь, увешанную множеством почтовых ящиков и звонков с сопутствующими табличками. На двери Ивашкевичей висел один ящик, и звонок был один, и только Ивашкевичи добились разрешения

проделать окно в глухом брандмауэре: Женька говорил, что когда-то комната Маргариты была «черной», и «бабушкина Жека» называла ее «девичья комната».

Удивительно: эта почтенная женщина — ее звали Александра Матвеевна — души не чаяла в своем внуке и пользовалась, как мне кажется, взаимностью, а с внучкой никак не могла найти общий язык и разговаривала с нею то заискивающе, то оскорбленно и сухо. Между тем Женька приносил в дом неизмеримо больше неприятностей, чем Маргарита. В семье Маргарита считалась несерьезным и непутевым ребенком, хотя была она отличницей и школу окончила худо-бедно, а с серебряной медалью. Женьке же, что ни год, грозили крупные осложнения, он даже по литературе, при своей начитанности, едва-едва выползал на тройку. И бедная Александра Матвеевна, человек, несмотря на возраст, активный и занятый (она писала очень важные мемуары о Горьком, Луначарском, много ездила по стране, участвовала в конференциях, выезжала и за рубеж),— бедная «бабушкина Жека» вынуждена была взять на себя председательство в школьном родительском комитете, чтобы хоть как-то оградить своего любимца.

Женька был человек противоречивый: проказник, но проказник не злой; лентяй, но лентяй исключительно деятельный и энергичный; баловень, но баловень на редкость неприхотливый — ему почти безразлично было, как его одевают, чем кормят, что дарят. О будущем своем он совершенно не задумывался и даже раздражался, когда Александра Матвеевна начинала выспрашивать у нас с Тольцом, чем мы интересуемся, куда собираемся поступать после школы. «Вот видишь, Жека,— говорила она со вздохом,— у всех понемногу определяются интересы, пора и тебе разобраться в своей душе. Мне очень не хотелось бы, чтобы ты пошел по стопам родителей: артистическая среда не для тебя».— «А я пойду по твоим стопам,— отвечал Женька,— и стану персональным пенсионером».

Мне кажется, любовная бабушкина опека лишила Женьку воли, да простит мне приятель, он жил как дворянский недоросль, не ведая забот и умея только азартно развлекаться. «Послушай, как ты можешь,— сказал он мне однажды,— тебя же в домработницу превратили заживо, я б через неделю околел».

Зато уж в развлечениях Женька был неистощим и умел увлекать за собою других. Не командовать, а именно увлекать. «Пошли»,— говорил он нам с Тольцом, и мы без лишних вопросов срывались с места и шагали, сами не зная куда, а следом за нами — еще с полдюжины ребят, тех, что оказались поблизости. Вдруг по дороге Женька останавливался, задумывался, тер пальцем переносицу и говорил: «Нет, не получится». И мы покорно возвращались, ни о чем не спрашивая и зная отлично, что если уж сегодня не получилось, то завтра обязательно получится. И получалось, что греха таить, потом хоть во дворе не появляйся. То новый способ хождения по вертикальной стене (не стану говорить, в чем он заключается: я сломал два пальца на левой ноге, и это был еще благополучный исход, а Женька ухитрился подняться аж до третьего этажа), то суперзмей полтора метра в диаметре: мы запускали его с крыши на бельевой веревке, и сильный порыв ветра чуть не унес Тольца на больничную территорию, а безобразный шестиугольник, склеенный из провощенной бумаги, еще долго летал над нашим районом, и участковый Можаев Петр Петрович, по прозвищу Деда, приходил разбираться. Этот Можаев, немолодой мешковатый капитан, бывший фронтовик, с лицом, выщербленным пороховой синью, был для нас, подростков, пострашнее тети Капы: та в худшем случае могла догнать, надрать уши или огреть по горбине метлой, а у Деды в кобуре лежали спички и папиросы и никакой метлы не было, имелось в его распоряжении одно только сладковато-жуткое слово «привод». «Ну что, привода захотелось?» — негромко спрашивал Деда, участливо и горестно кивая сам себе, и, честное слово, от страха волосы вставали дыбом.

Случались у Женьки шуточки и менее безобидные: появился у него магнитофон, аппаратура по тем временам еще редкая, и Женька затеял инсценировать объявление войны миров «по Уэллсу», склеивая уксусом кусочки фраз, начитанных Левитаном, но, к счастью, из этого ничего не получилось, а то ведь Женька намеревался выставить вечером магнитофон на подоконник Маргаритиной комнаты и включить его на полную мощность. Не забывал Женька и родную школу, которая содрогалась от его шалостей. Не знаю, где раздобыл он баллончик со сжатым гелием и как вообще выглядел этот баллончик

(я в это время болел, и сведения были получены мною из вторых рук, сам Женька предпочитал эту историю замалчивать), не знаю также, кто надоумил его это сделать, но, вдохнув гелий через респиратор, Женька вдруг заговорил на уроке марионеточным кукольным голосом и не столько насмешил, сколько напугал весь класс, да и сам, как я думаю, напугался. И Александре Матвеевне пришлось срочно отправляться в школу на спасение любимого внука.

«Бабушкина Жека», чистенькая, худенькая и быстрая, как синичка, старушка, была очень образованной женщиной, она свободно читала на четырех европейских языках и частенько удивляла нас своей эрудицией. Так однажды, увлекшись, она рассказала нам троим всю историю Великой Французской революции, да так живо, с такими подробностями, что мы сидели раскрывши рты, до многих источников ее рассказа я и сейчас не могу докопаться.

Как-то раз, зорко, по-птичьи взглянув на меня, она спросила: «А ты, Григорий, не пробовал что-нибудь написать? Маленький смешной рассказ, например, и послать его в «Пионерскую правду». Если хочешь, я тебе помогу: у меня там много хороших друзей». Несколько смутившись, я сказал, что довольно с меня и брата-писателя, и перевел разговор на Максимку. Выслушав меня, «бабушкина Жека» заметила: «У тебя отлично поставлено речевое дыхание. Но может быть, и хорошо, что ты этого покамест не сознаешь». Что такое «речевое дыхание», я понял лишь много лет спустя.

Сколько помню, Александра Матвеевна была большая модница: летом на голове у нее красовалась кокетливая плетеная черная шляпка с сиреневыми цветами, «менингитка» — так, кажется, этот убор назывался; зимой она носила меховую шапочку с большими помпонами, не пренебрегала и муфтой. В юные годы мы не слишком интересуемся, как выглядят старушки. Старушка — и все, и хватит об этом. Александра Матвеевна, как я теперь понимаю, словно бы родилась старушкой, возраст ей шел, и она это знала. Думаю, что в молодости это была мелкорослая остроносенькая и черноглазая невзрачная девчушка. Но возраст и опыт освятили неинтересные черты благородством, я бы сказал, абсолютностью: «бабушкина

Жека» была идеальная старушка, я больше таких не видал.

Женькиных родителей я видел редко: театральные люди, они вставали поздно, в одиннадцать, а домой возвращались после полуночи. Двери их комнат были все время прикрыты; мы с Тольцом никогда не спрашивали, дома Женькины родители или в отъезде, а про бабушку спрашивали. «Ай, устрекотала куда-то,— говорил Женька небрежно, но в его голосе слышалась любовь.— Она у меня еще шустрая». К дочери своей, Женькиной и Маргаритиной маме, «бабушкина Жека» относилась снисходительно, а зять ее, по-моему, просто боялся. Я сам слышал, как она четко и раздельно говорила ему: «Ты ничего собой не представляешь. Ни-че-го. И амбиции твои, мягко говоря, безосновательны». В ответ — молчание. Я полагаю, что тут-то и была одна из главных бабушкиных ошибок: Женька учился у нее этому пренебрежению, и со смертью бабушки для него умерло все, что стоило уважать.

Своего собственного отца Женька видел больше на экране, чем в жизни: «А вот сейчас нашего папочку покажут». В кино Ивашкевич-старший играл пожилых седоватых полковников и майоров, которые поначалу круты с новобранцами, а после раскрывают свои прекрасные человеческие качества. В те времена таких ролей было множество. Женька стеснялся кинематографической активности своего отца, который постоянно играл как будто бы одну и ту же роль, с неподвижным лицом, с просветленным и в то же время оцепенелым взором. С этим лицом и с этим взором он и ушел в конце концов из-под опеки «бабушкиной Жеки», оставив сына своего Женьку на произвол судьбы.

9

Итак, я вышел из нашей подворотни и двинулся к соседнему дому. Улица была пуста, ничего, кроме солнца и пыльно-зеленых деревьев. Только возле дома Ивашкевичей стояла «Волга» ГАЗ-21 с поднятым капотом: какой-то чудак, подумал я, затеял ремонтироваться

на самом солнцепеке. Ни в кабине, ни возле машины, ни под нею, однако, никого не было. Я подошел и заглянул в мотор. Не то чтоб я очень уж разбирался в автомобильных двигателях, но в те времена «Волга» (теперь уже старая «Волга») была в новинку и собирала толпы мальчишек. «Танк, а не машина»,— с уважением говорил Толец. А мне что нравилось в «Волге» — так это штамповка кузова, имитирующего контуры зверя, напрягшего задние ноги перед прыжком, и еще привинченный к передней части капота никелированный олень. У этой оленя не было, остались только дырочки: кто-то, значит, уже отвинтил. А под капотом я не увидел ничего поучительного: довольно грязные механические внутренности, окислившаяся рамка аккумулятора, промасленная тряпка сбоку и на ней гаечный ключ.

Тут хлопнула дверь подъезда, и из него вышел, а точнее, рысцой выбежал парень в кожаной куртке и серой кепочке «с разрезом», лицо у него было красно-загорелое и все лоснилось от пота, он, скособочась, нес большой ярко-рыжий чемодан. Завидев меня возле машины, он приостановился, утер свободной рукой лицо, но потом добежал оставшиеся несколько шагов и, с облегчением поставив чемодан на кромку тротуара, тонким тенорком сказал:

— Чего стоишь? А ну, пошел отсюда!

Пожав плечами, я отошел. Допустим, жарко, тяжело таскать чемоданы, но все равно это не причина, чтобы кидаться на людей. Что мог я у него украсть? Любимую тряпку, гаечный ключ — четырнадцатый номер? Оленя-то все равно уже отвинтили.

Идя к подъезду, я чувствовал, что парень смотрит мне вслед. Взявшись за ручку двери, я помедлил и обернулся, чтобы ему не показалось, что я от него просто сбежал. И точно: парень смотрел на меня, открыв багажник и заправляя туда чемодан. Глаза у него были белесые: должно быть, светлые, в белых ресницах да еще на загорелом лице. Был он коренаст, а коренастые люди, я где-то читал, часто бывают особенно агрессивны. Но ведь не я же придумал его коренастым, если на то пошло.

В дурном настроении я поднялся на пятый этаж, и перед самой дверью Ивашкевичей задал себе вопрос: а собственно, зачем я иду? Скорее всего, Маргарита дома,

да еще одна. Сдались мне сегодня эти девчонки: уж если тихоня Тоня начинает смеяться, как дурочка, от одного только слова «пожениться», то что возьмешь с Маргариты? Начнет издеваться — и опять придется бежать.

Тем не менее я нажал кнопку звонка и дал два коротких сигнала, один длинный: «Куз-не-цов». За дверью — ни звука. Я повторил звонок — тот же эффект. И тут мне стало все противно и скучно: опять возвращаться в свой двор, забирать Максимку, кормить его обедом, читать ему казахские сказки — да так вся жизнь пройдет, дорогие товарищи! Лучшие годы уходят на всякую ерунду. Ей-богу, в эту минуту я искренне ненавидел братишку, а вместе с ним и Тоню, которая, если по совести, была тут совершенно ни при чем.

Я пнул дверь ногой и пошел по лестнице вниз, спотыкаясь, как старичок, на каждой ступеньке. О, если бы дверь распахнулась и на пороге возник Женька Ивашкевич, как завопил бы он: «Гриня, привет! Заходи, есть идея!» Но Женька Ивашкевич тухнет среди флоксов на даче, а сестра его, злая и насмешливая Маргарита, «устрекотала» на важное свидание. Интересно, что за важное свидание может быть у девчонки, которая еще не кончила школу? Какой-нибудь студент Института международных отношений в башмаках на рубчатой подошве с прилизанным зачесом и в эластичных носках, которые тогда — о блаженные старые времена! — еще считались безразмерными и за ними выстраивались длиннющие очереди отчего-то во дворах универмагов. Стоили они двадцать пять рублей, по-теперешнему два с полтиной, то есть баснословно дорого, и были для меня символом самодовольства и избыточного достатка. Их обладатель — я все еще о носках — сидит теперь в Маргаритиной комнате, вытянув ноги в узких брюках и небрежно завалившись набок, на подушку тахты; носки его, нестерпимо яркие, как бы наполненные криптоном-аргоном-ксеноном, химически мерцают; рука, унизанная перстнями, лежит на колене у Маргариты. «Открыла бы пошла, от кого прячешься?» А Маргарита — в красном платье, в том самом, но пламень этого платья меркнет в свете его эластичных носков. «Да есть тут один недоросток... Пытался украсть меня через пожарную лестницу». И смех, и поцелуи, и смех. Картина представилась мне так явственно, что я остано-

вился и повернул назад. «Ну, я вам сейчас покажу! — думал я, перешагивая через ступени.— Ну, я вам устрою!» Точно такое же сладкое злорадство (бывает и горькое, смею вас заверить), с каким мы, пацаны, прокрадывались вечером в подворотню и неожиданно направляли луч фонаря на притаившуюся в нише парочку. Женька почему-то называл это дело «операция Тяни-толкай».

Последние лестничные пролеты я пробежал на цыпочках, остановился перед дверью, перевел дух и только собирался забарабанить в нее кулаками, еще не придумав, что буду кричать («Мили-и-ция!» или «Горим!» — и бегом по лестнице вниз), как вдруг дверь открылась — так тихо и так внезапно, что я помертвел.

На пороге стоял незнакомый мне человек — высокий и худой, отнюдь не студенческого возраста, много старше, но в то же время и не старый, с костлявым лицом и маленькими глазами, так близко поставленными к носу, что от этого нос казался кривым. Темные редкие волосы его были гладко зачесаны назад и блестели, как мокрые. Должно быть, он тоже растерялся, увидев меня, потому что инстинктивно отступил назад. Так мы молча смотрели друг на друга, и выражение лица Кривоносого медленно менялось: от подбородка до лба лицо его залилось каким-то восковым спокойствием. И что-то пусто и мертво мне показалось в прихожей, как будто все окна там, в глубине, за его спиной, были забелены известью.

— Ну, чем могу служить? — тихо и угрожающе произнес Кривоносый.— Или пинка?

Я невольно опустил взгляд на его ноги. Кривоносый был обут не по-домашнему, в уличные, покрытые странным белесым налетом черные полуботинки, и вообще у него был такой вид, как будто он собирался уходить.

— Добрый день,— ответил я по возможности вежливо.— Я к Жене, позовите, пожалуйста, Женю.

Кривоносый помедлил, лицо его смягчилось. Он сделал себе добродушно-усталые мешки под глазами, шевельнул щеками, словно бы собираясь улыбнуться.

— А, к Жене,— сказал он совсем уже другим, слегка слащавым голосом.— Ну, тогда ладно. Как тебя зовут?

Он говорил и глядел на меня и в то же время поверх меня, как если бы к чему-то напряженно прислушивался.

— Кузнецов Гриша.

— Женя твой на даче, Гриша...— Внизу бухнула дверь, и Кривоносый это отметил (может быть, он боялся, что кто-то идет следом за мной?).— Женя на даче и вернется не скоро, если, конечно, погода не подкачает.

Дверь снова хлопнула.

— Вот такие дела, Гриша,— громко и весело сказал Кривоносый.— Рад бы служить, да сам понимаешь. Я здесь проездом, переночевал — и в дорогу.

«А, комната для гостей»,— вяло подумал я.

Мне стало стыдно за свой испуг: ну, не хотел открывать человек, потом передумал и все же открыл, а я под дверью молча стою, и лицо у меня у самого как раз перекошенное. В самом деле, мало ли что можно подумать.

Я пробормотал: «Извините, до свиданья» и побрел по лестнице вниз. Меньше всего мне хотелось встретиться сейчас, на узенькой дорожке, с тем парнем в кожанке: толкнет плечом либо брякнет еще что-нибудь, не драться же с ним в чужом доме. И без того противно на душе: пинком мне давно уже не грозили.

Но когда я вышел на улицу, я увидел, что «Волга» уже укатила, от нее на мостовой не осталось даже масляного пятна. Правда, я запомнил номер: 06-66, сатанинское число.

10

Когда Тоня открыла мне дверь и впустила в квартиру (как верная жена — лодыря-мужа... должно быть, нечто подобное пришло в голову и ей, потому что нам обоим стало неловко), Максим сидел на диванном валике верхом и увлеченно кромсал ножницами какие-то лоскутья.

— Ты зачем меня обманул? — закричал он.— Это не аквариум, а гриб, и очень вкусный.

Я с упреком посмотрел на Тоню.

— Ну, Антонина, ты даешь! И много он выпил?

— Один стакан,— сказала Тоня с удивлением.— А что такого?

— Да он же теперь обедать не будет!

— А я его уже покормила,— радостно сообщила Тоня.— По-моему, он хорошо поел.

— Хорошо! — подтвердил Максим.— Я ел холодную картошку с зеленым луком и запивал японским грибом.

«Так, Григорий,— сказал я себе,— теперь надо сделать так, чтобы мама об этом не узнала».

— И между прочим,— добавил Максим,— никто меня с ложечки не кормил.

Я, не поверив, повернулся к Тоне.

— Сам ел?

— А разве его нужно было с ложечки? — спросила Тоня.— Он же большой.

Ладно, большой так большой. Товарищ решил пустить пыль в глаза девчонке — пожалуйста. Вечером я ему это припомню.

— А что это вы тут делаете? — поинтересовался я.

— Шьем куклам платья,— ответил Максим.— Я, оказывается, иголку в нитку умею вдевать. То есть нитку в иголку.

Тоня смущенно улыбалась. А что тут смущаться? Каждый занимает детей тем, что умеет и имеет. Если бы у меня была сестрица, я все равно играл бы с ней в «воздушный бой».

Я протянул руку к Тониному лицу — она испуганно отшатнулась.

— Да ты постой,— сказал я,— у тебя нитка на губах.

Я не успел дотронуться до ее губ, Тоня вспыхнула и бросилась к зеркалу. Нет, все-таки они совсем иначе устроены: ну, что такого — нитка и нитка. Я вон без штанов сидел, и то ничего. Сразу надо ей кидаться к зеркалу: ах, стыд, ах, позор!

И тут меня как током тряхнуло.

Зеркало!

Позвольте, товарищи, а зеркало?

Я совсем не это зеркало имел в виду, у которого, смущенная, чуть пригнувшись и придирчиво себя разглядывая, стояла Тоня. Совсем не это, тускловатое, в простой черной раме.

Другое зеркало, венецианское, как говорил Женька, в богатой оправе, оно висело у Ивашкевичей при входе в гостиную. Положим, венецианским это зеркало было только в Женькином воображении — он вообще скучал от обыденных вещей и каждой безделушке придавал ранг раритета. Пластмассовую фигурку льва покрасил черной краской (технически это довольно, кстати, сложно) и уверял, что это эбеновое дерево, африканская резьба стиля «маконде». Мы с легкостью его уличили, но не сконфузили.— «Ну, копия, подумаешь!» Я намекнул ему, что и слово «маконде» он выдумал, на это Женька только высокомерно ухмыльнулся. Много лет спустя я убедился,

что резьба «маконде» действительно существует: резчики племени «маконде» славятся на весь мир.

И тем не менее, венецианское или нахичеванское, это зеркало исчезло. Я точно помнил: вот дверь, вот фигура Кривоносого, одной рукой он держался за косяк, как бы нарочно заслоняя от меня пустое место на стене, с двумя голыми крюками. Я видел эти крюки — там, где всегда висело зеркало. Причем именно два крюка, не мог же я это выдумать.

И у меня в памяти всплыл давно прочитанный детектив: кто-то проезжает на поезде мимо полустанка и видит в окне чужое лицо.

Вы знаете, я обрадовался. То смутное неприятное чувство, с которым я вышел из дома Ивашкевичей, имело, оказывается, свою причину. Чужое лицо! Недаром Кривоносый так быстро отшатнулся, когда увидел, что я смотрю на него снизу, с другого двора. Но почему он открыл? Звони, дорогой, сколько влезет, рано или поздно устанешь и уберешься восвояси. А он подождал и открыл. Один, в чужой квартире, хотел проверить, кто так настойчиво рвется. Что тут плохого? Подождал и открыл. Совершенно естественно. И точно так же естественно может быть отсутствие зеркала в прихожей: возможно, его просто разбили. Или перевезли на дачу. Та же Маргарита настояла — и увезли. Ее, наверно, хлебом не корми, только дай посмотреться в зеркало на даче: не облупился ли носик, ровно ли ложится загар.

Но все же, все же... Так, Гриша Кузнецов, не волнуйся, рассуждай постепенно. Что мы имеем? Лицо в окне — раз. Нет, сначала. Маргарита куда-то торопится — раз. Лицо в окне — два. Машина у подъезда — три, с поднятым капотом — все равно три, подойдет участковый — не придерется. Дальше. Парень с чемоданом, который ужасно спешит и злится,— это четыре. Дверь Ивашкевичей открылась бесшумно, Кривоносый поставил ее на «собачку»,— это пять? Нет, еще не пять, чистая гипотеза. Но допустим, Кривоносый ждет Коренастого: тот носит чемоданы, а этот их заполняет краденым. Не звонить же Коренастому всякий раз, когда он подымется. Лучше дверь держать на предохранителе: подходи — и открывай. Вот и я: вместо того чтоб звонить, потянул бы за ручку — и милости просим. Захожу в квартиру, по-

лучаю по мозгам и оказываюсь в темном чулане. Нет, еще не пять, а вот зеркало — пять, вписывается зеркало в общий ход, и говорить тут не о чем. Я не большой знаток венецианского стекла, но это зеркало мне и самому нравилось. Оно не то чтобы уж очень хорошо отражало, скорее наоборот, имелись в глубине его какие-то извивы и переливы, но то, что это было старое зеркало, сомнений не вызывало. Однако это еще не все. Кривоносый прислушивался, без сомнений, он разговаривал со мной и в то же время не со мной. Он слушал лестницу, ему совсем не было интересно, чтобы Коренастый подошел к нам во время нашего разговора и заставил меня подумать, что между ними существует какая-то связь. И когда внизу хлопнула дверь, он заговорил неестественно громко. Зачем? А затем, чтобы предупредить своего сообщника, что подниматься не следует. Тот и не поднялся, и только поэтому я не встретил его на лестнице, и «Волга» исчезла, может быть, удрала. Это вам шесть и семь: громкий голос Кривоносого и исчезновение «Волги». А не хватит ли? Не пора ли бить в колокол: «Батюшки, грабят!»

В те времена квартир отдельных было еще немного: немудрено, что на каждой площадке дома Ивашкевичей — исключая пятый этаж — висело по нескольку почтовых ящиков, Москва не успела еще широко расселиться. Но городских легенд о тайнах отдельных квартир я слышал немало. Странное бульканье в платяном шкафу, где при проверке оказалось висящим обезглавленное туловище, из которого в эмалированный тазик капала кровь... Таинственные папиросы, которыми пришелец, якобы оценщик, окуривал хозяев, после чего они погружались в полуобморочное состояние и бессловесно наблюдали, как оценщик бесплатно выносит мебель... Запрятанные в стену фамильные клады, за которыми являются потомки белоэмигрантов... А были еще и странные «попрыгунчики» в белых балахонах с диванными пружинами, привязанными к ногам: они доскакивали до любого этажа (что мне всегда представлялось сомнительным) и безжалостно «ограбляли». «Попрыгунчики» принадлежали еще к довоенному эпосу, но Женька Ивашкевич рассказывал мне, что они будто бы до сих пор свирепствуют в городе Житомире.

Я не очень-то верил во все эти легенды, но слышал их — этого было достаточно. И вот, пожалуйста, носом

к носу столкнулся с живым грабителем. По логике вещей, Кривоносый должен был пристукнуть меня тут же, на лестнице, но он этого почему-то не сделал — возможно, потому, что у каждого уголовника свой почерк, и тот, кто работал домушником, принципиально не мог пойти на «мокрое дело».

Это с одной стороны. А с другой — я понимал, что стыдно бежать на улицу и звать на помощь постового милиционера: все мои «пункты» находились на уровне домысла. И особенно слабая связь имелась между первым и вторым: «Маргарита куда-то торопится» — «лицо мелькает в окне». Ну, Маргарита побывала в городе, торопилась, и что же? Почему, как следствие этого, в окне ее комнаты появилось лицо? Ключ обронила? Нелепо даже для детектива. Маргарита спешила на какую-то важную встречу, специально с дачи приехала. А в это самое время какой-то жулик прикидывался ее дальним родственником из Вологды. Почему-то длинное лицо Кривоносого увязалось у меня со словом «Вологда», мне даже стало казаться, что он это слово в беседе со мной произнес и очень при этом окал. «Сам-то я здесь проездом, из Вологды, переночевал — и в дорогу». Зачем он это мне, незнакомому мальчишке, вообще говорил? От смущения, чтобы оправдать свое неожиданное появление? Как-то я не заметил, чтоб Кривоносый смущался.

Тут я заметил, что Тоня давно уже отвернулась от зеркала и смотрит на меня во все глаза.

— Гриша, ты что? — проговорила она.— Зачем ты так делаешь?

Понятия не имею, что я такого делал особенного, но Максимка тоже бросил ножницы и беспокойно глядел на меня.

— Ты видел Риту? — с непонятной мне интонацией, в которой слышался вопрос и одновременно виделся утвердительный кивок, спросила меня Тоня.

— При чем тут Рита? — сердито отозвался я.

— Наверно, Ивашкевич повесился,— серьезно сказал Максимка, и Тоня засмеялась.

Я подошел к Максимке и щелкнул его по лбу.

— Не говори глупостей! Второй раз уже распускаешь язык.

И Максимка заплакал. Правда, при Тоне он постес-

нялся гудеть, он плакал вполголоса, но слезы так и покатились горохом.

— Зачем ты его бьешь по голове? — спросила Тоня.— Мы платья для кукол шьем, а ты пришел какой-то странный...

— И все испортил,— всхлипывая, добавил Максим.— Помешался на своих Ивашкевичах!

Пол был забросан тряпочками, на столе лежали вырезанные из картона куклы, их лица Тоня нарисовала по-девчачьи: огромные мохнатые глаза, губки бантиком, нос — две точки, африканские кудри.

Мне стало жалко братишку и Тоню.

— Ребятки,— сказал я, гладя Максимку по голове,— простите меня, пожалуйста. Вы хорошо тут без меня играете, побудьте еще полчаса!

— А ты куда? — вытирая ладошкой слезы, спросил Максимка.— Опять к Ивашкевичам?

— Да... Надо кое-что выяснить.

Я подошел к дверям, потоптался, Тоня и Максимка молчали.

— Да, кстати.— Я протянул Тоне ключ.— Если я задержусь, отведи Максимку домой и почитай ему книжку, он тебе сам скажет — какую.

— Я с тобой,— сказал Максимка и начал слезать с дивана, но Тоня его остановила.

— Ничего, ничего, Гриша скоро вернется,— проговорила она не слишком уверенно.

И взяла у меня ключ.

11

Легко сказать — «надо кое-что выяснить», а как это сделать? Стоя в подворотне на холодке, я задумался. Мысли у меня, как правило, рождаются не в результате целенаправленного процесса («Думай, Гришенька, думай!»), а сами по себе, когда им заблагорассудится, хоть среди ночи, и никогда вовремя. Конечно, можно придумать повод для визита: скажем, мне срочно нужен фонарик. У Женьки был такой, с жужжалкой-динамо, Женька гордился им и называл «вечным», я не имел к этому

фонарику отношения, но Кривоносому об этом не обязательно знать. Само наличие фонарика тоже, в общем-то, не обязательно, но все же лучше, чтоб он был,— так легче строить поведение. Так вот, фонарик был, я даже знал, где он лежит, в Женькиной комнате, в нижнем ящике левой тумбы письменного стола, если, конечно, Женька не взял его с собой на дачу. Вроде бы все очень просто: извините, Женя забыл вернуть мне эту вещь, я много раз заходил, но никого не заставал, а фонарик мне очень нужен. В первый раз я постеснялся беспокоить вас, незнакомого человека, но потом сообразил, что другой возможности не представится до конца августа. А если вы мне не доверяете, могу оставить свой адрес.

Ну ладно, а дальше что? Кривоносый, конечно, не пустит меня в квартиру и никакого фонаря не даст, неважно — «попрыгунчик» он или действительно приезжий. А я и не стану настаивать. Нет так нет, извините, очень жаль, всего хорошего. Мне надо только убедиться, что зеркало в прихожей пропало, что это мне не померещилось.

Да, но зачем считать Кривоносого дурачком? Уж как-нибудь он сообразит, что я явился во второй раз неспроста. Он сделает со своим лицом еще что-нибудь, притворится, например, брюзгливым дядей («Среди бела дня фонарь понадобился! Людей только беспокоишь...») и впустит меня в квартиру. А там, простите, вариант номер один: мешок мне на голову — и в кладовую, сиди и не пищи, а то ведь сам понимаешь... И дальше вот что получится: не дождавшись меня, Максимка потребует, чтобы Тоня отвела его к Ивашкевичам. Я Максимку знаю, Тоне против него не устоять. Они будут звонить, пока им не откроют, и тогда — дохлой мухи я не дам за все дальнейшее.

Мне стало жутко: еще не хватало, чтоб малыш и девчонка оказались впутаны в эту историю. Нет, идея фонаря не годится, она предполагает, что я так или иначе в квартиру вхожу. А может быть, не лезть со своим носом вовнутрь, а просто спросить про дядю Альберта, вернулся он из Индии или нет. Никакого дяди Альберта в семье у Ивашкевичей не числится, и если Кривоносый — чужой, он сразу же попадется. Да полно, так ли уж сразу? Приезжий из Вологды может и не знать, существует дядя

Альберт или нет. Ответит: «Понятия не имею», и что это нам даст? Ничего.

Тут ход моих рассуждений закончился тупиком, и в голове у меня заплясали другие соображения. Простите, а откуда у «попрыгунчика» ключ от квартиры? Я понимаю, что он мог действовать отмычкой или там «фомкой», но формально — откуда? Легенда «Я приезжий» должна же быть хоть как-то разработана, а если это не легенда — тем более: откуда взялся ключ и куда он после денется? Что, Кривоносый постоянно возит его с собой и заберет в Вологду? Совершенная чушь, а под половичок, насколько мне известно, Ивашкевичи ключи не клали, не было у них такой привычки. Свой личный ключ Женька, например, всегда носил с собой: для него личный ключ от входной двери был символом независимости, ушел — пришел, и никого не надо дожидаться на лестничной площадке. Гульливая Маргарита, я полагаю, тоже дорожила своим ключом: если верить Женьке, она являлась домой и за полночь. И «бабушкина Жека», и родители — Ивашкевичи — все члены семьи открывали дверь своими ключами, дверной звонок был только для посторонних. Я помню, что, услышав звонок, Александра Матвеевна всегда говорила: «Кто бы это мог быть, интересно?» Она любила, когда к ней приходили... Да, но о чем это я? О том, что при пяти ключах у Кривоносого имелась масса вариантов.

А может быть, спросить его, как проехать на дачу к Ивашкевичам? Он просто обязан знать адрес дачи, иначе как он мог сообщить о своем приезде? Допустим, я хочу съездить туда повидаться с приятелем. Вот тут-то «попрыгунчик» и попадется... Как бы не так! Шайка должна следить одновременно и за квартирой и за дачей. Может быть, третий сообщник сейчас околачивается именно около дачи, а есть еще и четвертый, он ходит по пятам Маргариты, без этого никак нельзя.

Послушай, Григорий, сказал я себе, а не чепуху ли ты городишь? Четырех сообщников выдумал, и вообще всю Москву опутала разбойничья сеть. А представь, что никаких сообщников нет, ни четвертого, ни третьего, ни даже второго: кто вбил тебе в голову, что между Коренастым и Кривоносым вообще есть какая-то связь? Ну, человек приехал из Вологды, ну, позвонил на дачу, у

Ивашкевичей там есть телефон, ему как другу семьи дали два номера, городской и дачный: ночуй, дорогой, сколько влезет, зачем тебе ютиться в гостинице? Ах, ты не хочешь на даче, тебе неудобно? Пожалуйста, городская квартира пустует. А ключ тебе сейчас привезет Маргарита, она же и заберет его обратно. Да что ты, дорогой, какие хлопоты. Она у нас девочка шустрая и подвижная, хлебом ее не корми, только дай прокатиться лишний раз туда и обратно на электричке. Вот и все, Григорий, и не морочь себе голову. А то: «Храбрый школьник распутал преступный клубок, разоблачена крупная шайка истребителей венецианских зеркал! Слава юному Маркизу, Григорию Кузнецову!» А ты видал хоть одно венецианское зеркало? Мало ли что Женька сказал: уж что-что, а приврать младший Ивашкевич умеет. Не он ли выдавал осколки зеленого бутылочного стекла за изумруды Голгофы (позднее оказалось — «Голконды»)? Не он ли натирал серебряной фольгой трехкопеечные монеты и пускал их в ход как двугривенные? Что ты, собственно, суетишься, Маркиз? Один взрослый болван цыкнул на тебя, другой пригрозил дать пинка, вот ты и вообразил, что оба они грабители.

В те годы по отношению к миру взрослых (включая самых мне близких) я находился в глухой и временами ожесточенной обороне. Наверно, это было связано с первыми попытками самоутверждения: смешно же самоутверждаться за счет тех, кто младше тебя (хотя некоторые именно так и делают), а взрослые, как мне казалось, упорно не желают потесниться, впустить меня в свой круг, признать меня равным среди равных. Каждый из них (повторяю, мне так казалось; ставши взрослым, я смотрю на свои тогдашние проблемы, естественно, уже со стороны, а как бы вы хотели?) — так вот, каждый взрослый, по моим тогдашним понятиям, превыше всего на свете ценил свою собственную законченность, завершенность, сделанность («Я сам себя сделал!») — и свое место в такой же законченной и завершенной картине мира. Мне же в этой картине отводилась лишь функция будущего человека, между тем как я уже был человеком, только не таким, как они. Ладно-ладно, думал я, дерзко глядя в глаза взрослому, который журил меня или поучал, ладно, ты — такой и другим уже не станешь, даже не захочешь

стараться, потому что это безнадежное дело. Хороший или плохой, умный или глупый (о, как тщательно взрослые оберегают ту тайну, что среди них тоже попадаются дураки!), талантливый или заурядный — ты уже законченный человек, ты уже себя сделал, этот вопрос закрыт. А я еще могу стать и тем, и этим, у меня есть выбор, я и сам пока не знаю, кем сделаюсь, но тот факт, что я еще не стал никем, вовсе не означает, что я — никто. Одно могу сказать с уверенностью: как бы ни сложилась моя жизнь, я не стану таким, как ты. Потому что я вижу, какой ты есть, и мне это не подходит. Концепция, я бы сказал, агрессивная, хотя на моем поведении она почти не отражалась: я был послушным сыном, примерным братом, старательным учеником, вежливым мальчиком, и никто не подозревал, сколько нетерпимости и ничем не оправданного высокомерия кроется у меня в душе, я и сам об этом, собственно, не подозревал. А наверное, стоило бы к себе прислушаться. Что такое? — думал я, сам себя взвинчивая. Тот же Кривоносый — да он, как проклятый, обречен всю жизнь шарить по чужим квартирам, а Коренастый — всю жизнь развозить и прятать краденое. Ничего другого они не могут и не смогут уже никогда. И они еще смеют меня оскорблять!

— Ладно, я вам покажу,— бормотал я, решительным шагом выходя из подворотни и направляясь к дому Ивашкевичей.— Я вам всем покажу!

Подниматься на пятый этаж, разумеется, не было смысла: Кривоносого наверняка уже и след простыл, «Волги» у подъезда тоже не было. Стоя возле дома, я посмотрел на окна первого этажа. Одни были наглухо зашторены, другие задернуты тюлем либо пестрыми занавесочками, на подоконниках — фикусы и герань. Неужели ни одна старушка не коротала время возле окна? Старушки так любят смотреть на улицу. Чтобы внести ясность во все вопросы, мне нужно было узнать, во-первых, из какой квартиры выносил вещи коренастый водитель, а во-вторых — один он приехал или с кривоносым попутчиком? С попутчиком — тогда это все подозрительно, и можно спокойно обращаться к участковому Можаеву, не опасаясь, что он тебя высмеет. Конечно, приход Маргариты был бы полезен, но кто ее знает, Маргариту? Может быть, она, не заходя домой, умоталась на дачу.

Я снова вошел в подъезд, позвонил в квартиру № 1, перебрал все пять комбинаций звонков, которые были обозначены на двери. Долго никто не подавал признаков жизни, потом в глубине за дверью послышались шаркающие шаги, и — о чудо! — дверь открыл именно такой человек, какой был мне нужен: высокая седая старуха с орлиным профилем, в подшитых валенках и меховой душегрейке. Сначала старуха никак не могла понять, чего я от нее хочу, и все пыталась захлопнуть дверь у меня перед носом.

— Нету, нету у нас ничего,— бормотала она, видимо, приняв меня за сборщика макулатуры.— Ходют, будют с ранья, нет на вас укороту!

Я сочинил и развернул версию о переписи ребят, которые остались на лето в городе, и старуха (кстати, не вижу ничего грубого в слове «старуха»: старушкой эту жительницу купеческого дома назвать было никак нельзя, и вообще любое слово произнести можно так, что оно прозвучит как оскорбление, будь то «мальчик» или, например, «девочка») — старуха нехотя сообщила мне, что дети есть, но все в отъезде, взрослые на работе, и вообще по таким делам приходить надо вечером, а не «середь бела дня».

— А что, разве наши уже приходили? — схитрил я.

— Каки таки «ваши»? — нахмурилась старуха.— Я говорю, цельный день по лестнице — грым-грым, и все бегом, все им некогда. Сундуки таскают, как на пожаре.

— Выезжает кто-нибудь, наверно. Из какой квартиры, вы не знаете?

— Не выезжают,— сказала старуха,— просто с верхних откуда-то етажей вещи носят. Рази от нас кто выедет? Век будут жить да клопов разводить.

И она с силой захлопнула дверь.

На втором этаже мне не открыли, но детский голос довольно толково объяснил, что никого дома нету, что «мамка меня заперла» и что Вовка в лагере на две смены, скоро вернется.

— А ты в окошко не смотрел? — спросил я.— Там серая машина стояла, это к кому?

— «Волга», что ли? — уточнил невидимый ребенок.— У нас в доме ни у кого «Волги» нет, это чужая приехала.

— А кто из нее выходил, один человек или два?

— Не знаю, я с кошкой играю,— ответил ребенок. И, помолчав, добавил: — Я Марина.

— Будь здорова, Марина,— сказал я и пошел на третий этаж.

В квартире № 3 оказалась целая уйма людей. Поскольку я нажимал кнопки всех звонков подряд, в прихожей получилось общее собрание жильцов. Командовал ими немолодой тучный мужчина в голубой майке, которого я, видимо, поднял из-за стола, потому что от него пахло селедкой. За его спиной толпилось несколько женщин.

Тут моя версия о переписи ребят оказалась несостоятельной, поскольку у меня не было ни карандаша, ни блокнота.

— А ну-ка, погоди,— сказал, выслушав мой довольно путаный монолог, командир в майке, протянул волосатую ручищу, взял меня за плечо и буквально силой втащил в прихожую.— Я за тобой давно наблюдаю. Ты что это целый день возле нашего дома околачиваешься? Что вынюхиваешь, говори!

И он встряхнул меня довольно крепко.

— Во-первых, не целый день,— пробормотал я,— а во-вторых, отпустите!

— Он к Ивашкевичам ходит,— пискнула белобрысая девчонка из-за спины командира.

— Да Ивашкевичи на даче,— сказала одна из женщин.

— А к нам зачем пожаловал? — спросил мужчина, не выпуская мое плечо.— Зачем людей беспокоишь?

— Видите ли,— сказал я и с большим трудом высвободился,— я знаю, что Ивашкевичи на даче, но там у них за дверью шаги, а на звонок никто не отвечает.

— Так-так,— командир заинтересовался.

— Не отвечают — значит, нечего ломиться,— наставительно заметила та же женщина с худым, изнуренным лицом.

— Погоди,— бросил через плечо мужчина. По-видимому, это была его жена, иначе она не стерпела бы, что ее так обрывают.— Ну, и что же?

— А у вашего подъезда «Волга» стояла,— продолжал

я уже более уверенно.— Я думал, может, к ним... Вещи какие-то выносили.

— «Может, к ним, может, от них»!..— беззлобно передразнил меня командир.— Девчонку выслеживаешь? Девчонка у них симпатичная.

Я молчал: третья оплеуха за сегодня, терпи, Маркиз.

— Соплячка она еще на «Волге» раскатывать,— недовольно сказала жена командира.— Это двое мужиков вещи вывозят.

Я напрягся.

— Двое? Один такой низенький, в кожаной куртке, а второй долговязый?

Женщина подумала.

— Да вроде бы да... В сером пыльнике один, рукав регланом, а второй в кожанке.

Командир в голубой майке оказался сообразительным человеком.

— Ты что же,— спросил он с любопытством,— думаешь, они Ивашкевичей квартиру обчистили?

Я пожал плечами.

— Номер «Волги» запомнил?

Я кивнул.

— Ну, тогда, брат...— Мужчина подумал, поднял странно маленький при его грузном туловище локоток, почесал себя под мышкой.— Тогда, брат, к участковому надо. Дверь-то на замке или сломана?

— Ну, если бы сломана была!..— я снисходительно усмехнулся.— Закрыта, и никаких следов.

— Ладно,— командир решительно повернулся.— Марта, принеси мне пиджак.

— Куда? — с оттенком пренебрежения произнесла изнуренная женщина, и сразу стало ясно, что, хотя она и позволяет себя перебивать, командира над нею нету.— Разлетелся. Иди обедай.

— Что значит «обедай»? — Мужчина даже покраснел от негодования.— Тут людей среди бела дня грабят! Вскрывать надо квартиру, я в понятые пойду.

— Тебе больше всех надо,— сказала жена и, давая понять, что разговор окончен, повернулась и пошла по коридору.

Командир посмотрел на меня, ему было неловко.

— Я думаю, что рано еще вскрывать,— сказал я,

стараясь ему помочь.— А вдруг родственники? Неудобно получится.

— М-да, неудобно, действительно,— ухватился за эту мысль командир.— Ладно, выясняй, раз уж начал. Если что, заходи, у меня сегодня отгул. Сапегин моя фамилия, Сергей Иваныч.

— Очень приятно,— ответил я, но себя называть не стал.

Выйдя на площадку, я почувствовал, что от этого

разговора даже рубашка моя сделалась мокрая. Это ж надо, сколько времени приходится тратить на дураков! Впрочем, я тоже хорош, идея переписи — это не лучшее мое изобретение, так можно и привод заиметь.

На четвертом этаже дверь мне открыла девушка лет двадцати или даже больше, белокурая, немного толстая и не слишком красивая, с маленькими серенькими глазками и крупным носом; у таких, я замечал, часто бывают большие амбиции. Девушка строго посмотрела на меня и ничего не спросила. Под ее взглядом я решил действовать напрямик и сухо осведомился, не слыхала ли она, как с пятого этажа вытаскивали вещи.

— Бригадмил? — спросила толстушка.

Я кивнул, стараясь упростить ситуацию.

— Удостоверение есть?

— Нет.

— Тогда катись отсюда.

Я хотел было сказать ей: «Ну, и дуреха», но воздержался и, как оказалось, правильно сделал, потому что, когда я уже спускался, девушка крикнула мне вдогонку:

— Там, на пятом, телефон три раза звонил. И трубку брали.

«Так, еще один кончик»,— подумал я, замедляя шаги.

— А о чем говорили, не слышно?

— Много хочешь,— ответила девушка.

И сердито захлопнула дверь.

12

Тоня и Максим шагали мне навстречу с таким решительным видом, как будто готовы были вступить за меня в смертный бой. Они меня не видели: Максимка, держа Тоню за руку и то и дело пускаясь вприпрыжку, что-то возбужденно ей говорил, а она смотрела прямо перед собою, но ничего не замечала и, наверно, не слышала. Губы ее были горестно сжаты, а глаза блестели, как заплаканные, круглое личико ее словно твердило: «Ну, и ладно, ну и пусть!» А солнечная сторона улицы вдруг ни с того ни с сего загустела прохожими, и все они шли в одну сторону: в кинотеатре «Ураган» кончился киносеанс. Прячась за людьми, я пропустил «своих» мимо,

потом зашел им со спины и, подладившись под их шаги, утробным голосом произнес:

— Кузнецов погиб, его заменяю я.

Шутка вышла, как теперь бы сказали, «черная», но они ведь не знали, что я один на один сражаюсь с бандитской шайкой. Тем не менее Тоня остановилась так резко, что я налетел на нее и, по-видимому, больно наступил на пятку.

— Ох, Гриша...— проговорила она, обернувшись.— Мы так волновались, Гриша!

И, прикусив губу от боли, наклонилась и потерла рукою ногу. Но я все равно заметил, что на глазах у нее выступили слезы: ну, как же, изменник проклятый, оставил ей малыша и умчался к своей Маргарите.

— Ты куда пропал? — запрокинув голову, гневно спросил Максимка.— Ты долго меня будешь бросать? Тебе мама что говорила?

Ох, какие они оба были ревнивые! И, как всякий объект любви-ревности, я почувствовал одновременно удовлетворение и досаду. Первое — оттого, что имеются-таки на свете люди, которым жить без меня невмоготу, а второе — от сознания того, что не их я собственность, ишь как притязают, наперебой.

— Ладно,— снисходительно сказал я.— Разлетелись, разволновались, расчирикались! Пошли обратно, я вам кое-что расскажу.

Говоря по правде, я не собирался покамест ни с кем делиться своими открытиями, тем более с малышом и девчонкой. Мне нравилось играть в одиночку, фантазия моя работала быстрее и охотнее, чем рассудок, рисуя ослепительно яркие и быстрые, как вспышки, картины, за которыми даже слова не успевали поспеть (Коренастый и Кривоносый, заломив мне за спину руки, вталкивают меня головою вперед в какой-то черный фургон... Маргарита в красном платье открывает своим ключом дверь, входит в прихожую, рассеянно оглядывается — и вдруг, охнув, оборачивается; за ее спиной, усмехаясь, стоит Кривоносый... Вскарабкавшись по пожарной лестнице, я заглядываю в окно — сквозь стекло на меня смотрит лицо Коренастого с белым приплюснутым носом...). Но и строить умозаключения было тоже приятно, в таких делах помощники не нужны. Однако я сообразил, что

Максим меня больше никуда не отпустит, гораздо удобнее ему кое-что рассказать, а заодно и Тоне, чтобы она не мучилась своими глупыми девчачьими подозрениями, и Максим тогда будет под присмотром, а уж уважение к своему расследованию я им сумею внушить. Что касается папиного приезда, то я старался о нем не думать: подсознательно я понимал, что при папе не смогу так самозабвенно играть. Максимка был еще способен играть при родителях (да и то иногда, косясь, недовольно говорил: «Не смотрите, я играю!»), для меня же это был давно пройденный этап.

— Что-то важное? — с жадным любопытством спросил Максимка, сразу же остыв от праведного гнева, а Тоня выпрямилась и посмотрела мне в лицо, недоверчиво улыбаясь.

— Пошли, пошли, здесь люди кругом,— поторопил я их, и мы зашагали против людского движения, в сторону «Урагана».

В «Урагане» действительно шел сентиментальный индийский фильм — я бы мог догадаться и раньше, видя такое количество идущих от кинотеатра опечаленных и разрумянившихся немолодых женщин (как правило, полных: худым женщинам индийские фильмы нравятся меньше, я это заметил, хоть и не могу объяснить). Мы уселись на скамеечке у боковой стены, там не было солнца, и с внутреннего двора даже тянуло прохладой. Как опытный режиссер, я развернул на фоне грубого кирпичного задника целый моноспектакль: вскакивал, вздымал к небу руки, прохаживался, не переставая говорить, вдоль простой деревянной скамьи, на которой чинно сидели оба моих слушателя (Максим, вцепившись обеими ручонками в скамью, даже рот раскрыл, и глаза его сияли восторгом, а с Тониного лица не сходила несколько раздражавшая меня недоверчиво-радостная улыбка, которая сейчас казалась мне глуповатой), приглушал голос и делал тревожные паузы, когда из-за угла кто-нибудь выходил. В целом я не так уж много преувеличил: лицо в окне Маргариты сделалось по моей версии бледным, как смерть, Коренастого я наградил множеством синих наколок, таинственная «Волга» сорвалась с места, как самолет, хотя я не видел, как она отъезжала... Ну, и так далее. Я умолчал только о пинке, который мне

посулили: эта подробность казалась мне несущественной, а если быть откровенным — она задевала мое самолюбие.

— Это шпионы, вредители! — убежденно сказал Максимка, когда я кончил. И оглянулся на кирпичную стену у себя за спиной.— Их надо обязательно обезвредить.

А Тоня молчала. Она, правда, перестала улыбаться и просто сидела, задумчиво глядя перед собой.

— Ты что, не веришь? — спросил я ее довольно грубо.

— Нет, верю...— тут же ответила она. И после паузы добавила: — Ивашкевичи богатые.

Меня поразили эти слова: «Ивашкевичи богатые». Мне до сих пор в голову не приходила мысль, что Женька Ивашкевич богат, а мы с Максимкой бедные, что ли?

— А ты у них была? — спросил я резко.

Тоня удивленно посмотрела на меня.

— Нет, не была. Мне мама говорила.

«А мама твоя...» — хотел было сказать я, но вовремя прикусил язык: в самом деле, трудно было даже представить себе, что тетя Капа могла оказаться у Ивашкевичей в гостях. С другой стороны, дружим же мы с Женькой, и сама Тоня могла бы с Маргаритой дружить, если бы они были ровесницы.

Мы, не сговариваясь, поднялись, прошли по переулкам до самой почты, держа Максимку за руки с обеих сторон, потом свернули к «Гастроному» и, обойдя больничную территорию, подошли к нашему дому. Максимка послушно семенил между нами, время от времени озираясь: наверно, он думал, что я запутываю следы.

— Гриша, ты их поймаешь? — спросил он меня.

— Конечно, поймаю,— машинально ответил я, думая о своем.

И мой братишка, вполне удовлетворившись этим безответственным заявлением, успокоился и въехал в подворотню, вися на наших руках и болтая ногами.

А думал я вот о чем: «бедные» — «богатые». Это в душе у меня не укладывалось, но не было ли снисходительности в Женькином голосе, когда он заливал о венецианском зеркале? Откуда, мол, вам знать, все равно не разберетесь. А «бабушкина Жека», которая с таким участием дотошливо расспрашивала меня о нашем жилье, о работе родителей,— может быть, она считала нас бедняками? И Маргарита, которая с такой насмешкой меня

всегда разглядывает,— не говорит ли она про себя: «Вот парень из бедной семьи»?

И, словно прочитав мои мысли, Тоня негромко сказала:

— Тебе, наверно, стыдно со мной ходить.

Вот это ход! Я даже споткнулся от неожиданности, а главное — что тут ответишь? «Да нет, совсем не стыдно»? Неубедительно. Вернее было бы разыграть возмущение: «Ты что, с ума сошла?» А она в ответ возьмет и скажет: «Тогда давай дружить». Вот будет ужас! Ну ладно, давай дружить — и что теперь? И понеслась: ходи на голове, топчи зеленую травку, изъявляй всяческие чувства: «Ах, как мне стало хорошо, намного лучше, чем раньше!» Да нет, конечно, не существует такого универсального правила, что всякий, кто предлагает вам дружить, является потенциальным деспотом и вынуждает вас топтать зеленую травку и исходить слюной сентиментов; возможно, это предложение сделано было от глубокого одиночества и неумения исподволь завязать дружбу. Обидеть человека, предлагающего тебе дружить,— все равно что ударить ребенка, щелкнуть его по голове, как сделал я со своим братишкой. Но и соглашаться: «Давай» — мороз по коже. Так я думал тогда, не подозревая, что придет такое время, когда всем золотом мира я готов буду заплатить за одну только фразу: «Давай дружить», которую мне никто больше не скажет...

А Тоня, отвернувшись, ждала ответа, и даже круглое ушко ее покраснело и напряглось от ожидания. Так мы стояли в подворотне, а Максимка болтался с поджатыми ногами на наших руках, и надо было что-то сказать: такая реплика не могла остаться без ответа.

— Ладно, не прибедняйся,— пробормотал я первое, что пришло в голову, и оказалось именно то, что нужно: щека Тонина шевельнулась, и я понял, что она улыбается, как бы готовясь произнести: «Тогда давай дружить». Но Тоня и не собиралась поворачиваться ко мне, она улыбалась исключительно для себя, и у меня отлегло от души.

— Вот что, люди,— сказал я тоном хозяина ситуации, человека номер один.— Обо всем, что я вам рассказал, никому ни слова.

Тоня кивнула, конечно, в этом я и не сомневался, а Максим встал на ноги и простодушно спросил:

— И маме, и папе?

— Сам понимаешь,— ответил я.

— И тете Капе? — настаивал он.

— Ни-ко-му.

Братишка мой собирался что-то уточнить, какие-то нравственные параметры, но вдруг обернулся, высвободил руки и с воплем: «Сидорова обрили!» побежал по двору.

И в самом деле, бедолага Сидоров с обстриженным затылком, как белокурый казак, торжественно выходил из своего подъезда. Он был нимало не смущен: напротив, снисходительно наклонил голову и дал Максимке потрогать затылок, и оба приятеля направились к железным гаражам, а бабушка Сидорова, стоя на крыльце и опершись на клюку, горестно смотрела им вслед.

— Мама приехала,— сказала вдруг Тоня и, ужасно покраснев, повернулась ко мне. Так, с отчаянно светлыми глазами на бледном и в то же время покрасневшем лице, смотрела, должно быть, на Вронского Анна Каренина.— Вечером выходи.

Я завертелся, недоумевая, как это могло случиться, что мама идет с работы в неположенный час, и тут увидел тетю Капу, которая, сутулясь, тяжелой походкой медведицы, в долгополом китайском «кашемировом» плаще, с двумя кошелками в руках, простоволосая и оттого особенно грозная, шла по двору. Ах, да, конечно же, тускло подумалось мне, ведь она — ее мама. Тетя Капа не смотрела на нас, но по посадке ее головы чувствовалось, что она только что отвела от нас не скажу что доброжелательный взгляд.

Тоня быстро подошла к ней (каждый крючочек застежки на Тониной спине я видел так отчетливо, как будто это было рядом), взяла одну из кошелок, мать и дочь обменялись короткими репликами (хотел бы я знать, о чем) и, прибавив шагу, пошли к своему подъезду. Как это часто бывает, в сознании моем на секунду мелькнуло видение сходства этих двух, таких разных, фигур: статная девочка в туго обтягивающем ее платье не по возрасту, рукав фонариком, ноги слегка тяжеловаты, коса на спине, и немолодая косматая женщина в длинном «размахае» черно-фиолетового цвета, с грубой и надежной посадкой головы. Мелькнуло — и тут же надолго исчезло, чтобы вновь

возникнуть сейчас, через много лет, когда я отчетливо вижу их обеих, мать и дочь, идущими по двору.

«Вечером выходи»,— услышал я полушепот. Это было первое в моей жизни назначенное мне свидание: как пишут в старых романах, «июля шестнадцатого числа 195... го года». Шелест листопада, желтого и зеленого, сквозь который идут, взявшись за руки, с таким видом, как будто бы и листопад, и аллея, и жизнь бесконечны... громкий ропот спускающегося вниз эскалатора, на ступеньках целуются, ну а те, кто по ту сторону коронованных фонарей поднимаются вверх, могут либо ворчать, либо сами целоваться, либо делать вид, что ничего не замечают... Всеми этими шумами и гулами дохнуло из двух слов, слабо сцепленных: «Вечером выходи». Но я был как младенец, зимой родившийся: перед ним вдруг открыли весеннюю форточку, и он глупо таращит глаза, не понимая, чем на него веет.

Пока Максим развлекался у гаражей, я решил еще разочек сбегать к дому Ивашкевичей, посмотреть, что и как: не приехала ли сатанинская «Волга», не явилась ли Маргарита, да мало ли что. Правду говоря, я немного остыл к этой игре: срабатывало слово «богатые». Не слишком ли я пекусь об имуществе Ивашкевичей? Но с другой стороны, Женька — мой друг, и было бы странно, если бы я оставил все как есть и занялся своими эмоциями.

13

Уже издалека я увидел, что возле дома Ивашкевичей что-то происходит: серая «Волга» вновь появилась на своем обычном месте, теперь она казалась мне и в самом деле таинственной и мрачной, как призрак корабля «Мария-Челеста», о котором я узнал из радиопередачи «Клуб знаменитых капитанов». А возле «Волги» собрались люди, среди них я узнал Сапегина Сергея Ивановича — он возвышался над толпой, как статуя командора, поверх домашней голубой майки он для приличия набросил пиджак. Рядом с ним, едва доставая головой Сапегину до плеча, стоял краснолицый и коренастый водитель в ко-

жаной куртке (задрав голову и сдвинув свою серую кепку на затылок, он что-то яростно доказывал), толпились еще какие-то незнакомые люди, должно быть любопытствующие прохожие. Я прибавил шагу: мне было так же досадно, как всякому автору, увидевшему свое произведение вынесенным на киноэкран без авторского ведома и согласия. Досадно и любопытно.

— А, вот и разведчик! — завидев меня, прогудел Сапегин.

Коренастый обернулся и, пока я подходил, смотрел на меня белыми от ненависти глазами.

— Эта? — Сапегин кивнул на «Волгу».

— Эта,— ответил я, подойдя и не без гордости видя, что незнакомые люди передо мной расступаются.

— Еще раз попрошу предъявить документики! — грозно сказал Сапегин Коренастому.

— А я еще раз говорю,— осипшим тенорком заорал водитель,— не имеете права требовать! Только органам власти!

— Хорошо,— согласился Сапегин,— будут тебе органы, будет и власть.

— Да пошел ты...— прошипел Коренастый и схватился за дверную ручку машины.— Ненормальные какие-то населяют.

— Подождешь! — возразил Сапегин и взял его за локоть — видимо, довольно крепко, потому что водитель тут же отпустил ручку. Он широко раскрыл рот, чтобы разразиться бранью, рот у него был полон нержавеющих зубов.

Но тут худая женщина в домашнем халате, жена Сапегина, сказала:

— Второй идет, в сером пыльнике.

Поскольку она смотрела на подъезд купеческого дома, все повернулись туда. На крыльце стоял сутулый немолодой человек в светлом плаще-пыльнике с портфелем в руке, за ним из подъезда вышла дородная женщина в нарядном ярко-розовом платье и с золотой театральной сумочкой, которую она держала под мышкой.

— Он? — спросил меня Сергей Иваныч.

Я помотал головой, мурашками покрывшись от предчувствия, что сейчас будет.

Сапегин отпустил кожаную куртку, и Коренастый,

словно этого только и дожидаясь, плачущим голосом закричал:

— Николай Евсеич, ну что такое? Привязались тут, за руки хватаются, документы требуют!

— В чем дело? — строго спросил человек в сером пыльнике, подойдя.— Какие проблемы?

Но тут женщина в розовом вырвалась вперед, решительно его отстранила и застрекотала, как пулемет:

— И что это вы здесь выставились? И что это вы

уставились? Не видели, как человек уезжает из вашего змеиного гнезда? Ну, так любуйтесь, пожалуйста, на здоровьечко. Коля, садись!

Сапегин метнул на меня недобрый взгляд, поскреб затылок.

— Ты, Нина Петровна, не горячись, тебя-то мы знаем. Переезжаешь, никак? Вещички-то, извиняюсь, твои перевозят?

— А то еще чьи же, наверно, уж не твои! — Женщина

в розовом подбоченилась, прихватив толстыми пальцами свою драгоценную сумку.

— А этот гражданин, извиняюсь, кто будет?

— Муж!

Розовая женщина постояла подбоченясь в наступившей тишине и, видимо довольная произведенным эффектом, громко произнесла: «Тьфу!» — и полезла в заднюю дверцу машины.

— Нет, погодите, граждане дорогие! — ободренный тем, что Сапегин озадаченно умолк, Коренастый теперь уже сам крепко схватил меня за рукав рубашки, прищемив мне своими железными пальцами кожу.— Вот тут, значит, этот гаденыш вертится возле машины, как проклятый, а этот вот как с цепи сорвался, документики требует, это значит, вам все ничего?

Пожилой в пыльнике пасмурно взглянул на меня (я чувствовал, что ему самому и тошно, и стыдно), и я понял, что защищать меня от водителя здесь никто не станет и оплеухи — это в лучшем случае — мне, пожалуй, не избежать. Но тут неожиданно за меня вступилась Сапегина.

— А машина-то, между прочим, казенная,— язвительно сказала она.— Мальчик вертится правильно: вы тут личные дела на казенном бензине справляете.

Что здесь началось! Женщина в розовом распахнула дверцу машины и разразилась изнутри крикливой бранью, Сапегина не уступала ей ни в словечке, муж ее угрюмо оправдывался, Николай Евсеич то урезонивал новобрачную, то призывал водителя плюнуть на все и садиться за руль, а Коренастый ругался со всеми сразу, то и дело дергая меня за рукав, как бы желая убедиться, что я никуда не утек.

— Делаешь добро людям, а тебе в глаза тычут!

— Брось, Иван, поехали, времени нет!

— Нашел себе халтурку, левак бесстыжий!

— Сама ты бесстыжая — товарищу помочь!

— Помочь — за государственный счет!

— А ты мой бензин нюхала, государственный или нет? Не нюхала? Ну, так понюхай!

— Ну, ну, полегче, женщина все-таки...

— Ах, все-таки женщина? А какое женщине дело?

Наконец Николай Евсеич, соскучившись, протиснулся

между мною и Коренастым, тем самым оторвав его от меня, и сел в машину.

— Иди-ка ты домой,— негромко сказал мне Сапегин,— и больше чтоб твоего духу...

Это был разумный совет, и я, отойдя шага на два в сторонку, повернулся и быстро зашагал к своему дому.

— Нет, погоди! — завопил Коренастый своим тонким, въедливым голосом мне вслед, но, должно быть, его удержали.

Уши у меня горели, когда я пришел к себе во двор. Тони не было, конечно. Максимка и Сидоров качались на качелях, точнее, просто висели в сидячем положении и, ерзая, старались как Мюнхгаузены поднять себя вверх, а бабушка Сидорова, которую вполне устраивало такое положение (и падать низко, и высоко не залетят) бродила вокруг угольной кучи и для чего-то тыкала в нее палкой.

— Гриша, ты их поймал? — спросил меня с качелей Максимка.

— Нет, Максюша, не поймал,— устало и потому миролюбиво ответил я.— Чуть меня самого не поймали.

— Ничего, в другой раз,— великодушно утешил меня Максимка.— Раскачай нас как следует.

И я уж их раскачал от души, так что они визжали, как поросята. Счастье, что бабушка Сидорова была далеко, а то бы не миновать мне клюки. Два раза детишки на качелях чуть не описали полное «солнце», и даже Сидоров взмолился:

— На землю хочу!

Много позднее я узнал, что в поведении моем здесь проявила себя сублимация — «переключение энергии сильных страстей на цели социальной деятельности и культурного творчества».

14

Папа не приехал: все-таки «шестнадцатого числа» и «числа шестнадцатого» — это не одно и то же. Теперь, когда с делом Кривоносого было покончено, я даже на папу обиделся: зачем было письмо посылать? Несерьезно. Хотя умом понимал — письмо было отправлено девятого,

мало ли что могло произойти за эту неделю на объекте. Был случай, когда папу даже пытались подкупить, положили ему в карман сверток с деньгами: что-то он там не хотел подписать, а очень нужна была его подпись.

Поздно вечером, когда я досыта натешил Максимку вновь обретенными «Казахскими сказками» и стал потихоньку готовить его ко сну, избегая бурных игр и серьезных разговоров, вернулась с работы мама. Как всегда после «клубного дня», усталая, бледная, осунувшаяся и взвинченная одновременно, с огромным пакетом для нас — там оказалась крупная черная вишня.

— Ну как, мои скворушки? — с веселостью, которая казалась мне наигранной, спросила она.— Целый день, наверно, ссорились?

— Нет, мамочка, нет! — заверил ее Максимка.

В нитяных штопаных колготках и оранжевой фланелевой рубашке (Максимка называл ее байковой, производя это слово от «баиньки», и, если не хотел спать, категорически возражал против надевания этой рубашки, а при случае прятал ее в какой-нибудь укромный угол, чаще всего в один и тот же, за платяным шкафом), он крепко обхватил маму за ноги и не давал ей дотянуться до вешалки, чтобы пристроить плащ. Я терпеливо стоял в сторонке: Максим всегда завладевал мамой и папой в первые минуты и ни за что не уступал места мне. Вначале я сердился и спорил, потом просто молча обижался, а еще позднее не обижался и не спорил, молча принимая к сведению, что я нахожусь на втором месте и родители не считают нужным это положение исправлять. Теперь-то, сам имея детей, я понимаю, насколько был тогда несправедлив, но что «теперь», если мы говорим о «тогда»?

— Нет, мамочка, нет! Сидоров в расплавленной смоле искупался, и его сзади остригли, а его бабушка палкой дерется, а у Тони японский гриб и сто лопат в подсобке, а потом Гриша бандитов ловил, но его чуть самого...

— Максим! — строго произнес я.— Болтаешь что попало.

Братишка обернулся и, осекшись, прижмурился в ожидании, что я влеплю ему подзатыльник. А мама — мама ничего не заметила.

— Господи, что за ужасы у вас здесь творятся! — чуть механически проговорила она и, протянув руку, пристро-

ила плащ. Вообще, выйдя на работу, она стала другой: не то что чужой, но какой-то отдаленно нежной, словно она ласкала нас издалека или писала нам нежные письма в нашем присутствии.— Стриженый Сидоров в кипящей смоле, Тоня гриппом японским болеет, да еще бандиты с лопатами...

И она, подхватив Максимку на руки, крепко прижала его к себе. Мы прошли на кухню, мама усадила нас за стол, помыла в дуршлаге вишню, высыпала в глубокую миску, поставила блюдца для косточек и строго-настрого запретила стрелять косточками друг в друга. Я принес ей папино письмо, и, пока она читала, по-детски шевеля губами, мы с Максимом всласть настрелялись друг в друга косточками.

Прочитав, мама вздохнула, бросила письмо на кухонный стол (меня больно резанул этот жест, который, как я теперь понимаю, означал лишь одно: «О господи, пишет-пишет, хоть бы скорее приехал!») и, поцеловав Макса в макушку, присела на табуретку рядом со мной.

— Так чем же вы здесь занимались?

— Играли,— коротко ответил я.

— Играли,— повторила мама.— Бедный ты мой.

Она потянулась погладить меня по голове, я отстранился, обиженный за брошенное папино письмо.

— Ершистый какой...— мама снова вздохнула.

— Мама, мы хорошо играли! — вмешался, оторвавшись от поглощения вишни, Максимка.— Еще мы с Тоней играли, она веселая, она Гришу любит.

Наверно, лицо у меня сделалось не такое каменное, как я того хотел, потому что мама засмеялась.

— Гришенька, в этом нет ничего плохого, если кто-то тебя любит,— сказала она ласково.— Это надо ценить.

— Да ну еще,— буркнул я.— Ценить! Больно мне надо. И врет он все, этот Максим.

— Не вру! Не вру! — возразил малолетний доносчик и, стрельнув косточкой, попал мне в лоб.— Она сама мне сказала!

— А как она это сказала? — с живостью спросила мама.

— Сказала, что без него она просто не может.

Терпение мое лопнуло.

— Мама, он сочиняет! — сказал я.— Ты извини, но сейчас я ему дам!

Сообразив, что перегнул палку, Максимка отшатнулся в своем высоком стульчике и закрыл нос и затылок руками. По подбородку у него тек вишневый сок. Мне стало жалко сочинителя.

— У, сюся! — сказал я и вытер ему подбородок.

А мама грустно и устало на нас смотрела.

Мне почему-то показалось, что она сейчас начнет плакать, и я поспешно спросил:

— Ну, как твоя репетиция? Все нормально?

Мама скорбно усмехнулась.

— Ай, никому это не нужно и не интересно,— проговорила она.

И в эту минуту к нам позвонили.

— Папа! — закричал я и бросился к дверям.

— Вытащите меня! — запищал Максимка, выкарабкиваясь из тесного стульчика.

Но первой у дверей оказалась мама. Она открыла, на площадке был полумрак, и я из-за маминой спины сначала не разглядел, кто там стоит, и не понял, почему мама произнесла что-то вроде короткого и удивленного «О!»

— Здравствуйте,— сказала, переступая порог, Тоня.

Мне показалось, что линолеум задымился у меня под ногами. Если бы я мог прожечь собою пол и провалиться до первого этажа, я бы это непременно сделал. Ну что за люди эти девчонки! Они как будто для того и родились, чтобы ставить всех в дурацкое положение.

Тоня посмотрела на маму и с какой-то болезненной настойчивостью в голосе сказала:

— Мне надо с Гришей поговорить.

Как будто раньше ей в этом отказывали.

— Конечно, конечно,— ответила мама и, чуть заметно покачав головой, пошла на кухню к Максимке. Я понял так, что эта смелость и ей не понравилась.

— Ну, что такое? — зловещим шепотом проговорил я.

На Тоне поверх платья была шерстяная вязаная кофта пасмурного цвета с обвисшими полами, скорее всего, тети Капина.

— Ты знаешь, Гриша,— тоже шепотом отозвалась Тоня,— я тут сходила к девочкам из школы, они мне дали

телефон Ивашкевичей дачи... Они туда в прошлое воскресенье ездили. Ты бы позвонил Рите по тому делу, мало ли что...

Тут только мне пришло в голову, что Тоня потому отослала маму на кухню, что держала слово, данное мне, слово о неразглашении тайны. Другого пути у нее не было.

— А почему, собственно, Рите? — тупо задумавшись, спросил я.

Тоня взглянула на меня и ничего не ответила.

«Ах, ах, у нас все фигуры умолчания,— подумал я.— Ты хочешь послушать, как я разговариваю с Маргаритой? Не будет этого, но позвонить на дачу — идея в целом хорошая. Да, позвонить — и подвести черту».

— Мама, я выйду на десять минут,— сказал я через плечо,— позвонить надо.

— Сходи, сходи, погуляй,— как бы не слыша глагола «позвонить» (а может быть, и в самом деле не слышала? Люди вообще слышат лишь то, что хотят... и что могут), согласилась мама,— только недолго.

— Позвоню и вернусь,— упрямо повторил я.

И мы с Тоней пошли на улицу. Спускались по лестнице молча, я впереди, Тоня сзади. И только когда вышли в сумрачный двор, Тоня спросила:

— Ты рассердился, что я пришла?

— Нет, ну что ты! — развязно, как опереточный актер, ответил я.

Именно как опереточный: после этого ответа можно было распевать комические куплеты. А кстати, вы замечали, что актеры на театральной сцене вообще разговаривают такими преувеличенно бодрыми высокими голосами, как будто им холодно? Особенно это заметно, когда на сцене изображается солнечный день. И чем активнее они показывают, что им чертовски жарко, тем крепче уверенность, что на самом-то деле они мерзнут.

А вечер был теплый, сырой и беззвездный, асфальтовые наши просторы пахли обильной росой, того и гляди, что во всех углах гулко заквакают битумные и гудроновые лягушки.

— Скажи,— спросил я Тоню, идя к подворотне,— а почему ты считаешь, что надо говорить с Маргаритой?

Я, собственно, хотел спросить о другом: действительно

ли Тоня сказала Максимке, что не может без меня жить? Но вот — не получилось.

В ожидании ответа я обернулся, и Тоня, шедшая сзади, оказалась со мною лицом к лицу.

— А потому,— сказала она, глядя мне в глаза (в темноте это так нетрудно),— а потому, что... может быть, Рита тогда была дома.

— Когда тогда? — Я силился понять, но не мог.

— Ну тогда...

Фраза, которую Тоня собиралась произнести, была для нее синтаксически сложновата и не так-то просто проговаривалась.

— Когда ты этого человека увидел.

Я опешил.

— Какого человека?

— Ну, этого, в квартире, в дверях.

Синтаксис синтаксисом, но смысл того, что Тоня силилась сказать, оказался сложноват как раз для меня.

— Постой...— пробормотал я, попятившись.— Ты хочешь сказать, что в то время, как тот тип выглядывал на площадку, Маргарита тоже была у себя?

Тоня не ответила, только пожала плечами. Очень неприятно, когда пожимают плечами в полутьме. Я стоял совершенно ошарашенный: мне такой расклад не приходил в голову. Да полно, Маркиз, так ли уж не приходил? А что ж ты стучал в ту дверь кулаками и ногами... Или собирался стучать, задумав операцию «Тянитолкай»?

— Да, но...— проговорил я — и осекся.

Какое счастье, что было темно и Тоня не могла разглядеть выражение моего лица, хотя и пыталась, глядя на меня во все глаза.

— Да ты бы видела этого типа,— сказал я как можно более снисходительно,— это ж кошмарный старик, лет за тридцать.

Тоня молчала, по-прежнему глядя на меня, и мне стало казаться, что взгляд у нее укоризненный: эх ты, притвориться — и то не можешь как следует.

— Ну, тогда звони ей сама,— рассердился я.

— Нет,— покачав головой, ответила Тоня.— Ты с Женей дружишь, а я с Ритой — нет.

— Ну, и буду говорить с Женькой.

— А он сегодня в городе не был.

В логике ей нельзя было отказать.

15

Возле нашей подворотни, которая выходит в переулок, стояла чуть покосившаяся кабина телефона-автомата. Я зашел внутрь, оставив открытою дверь, Тоня молча протянула мне клочок бумаги с коряво написанным номером и собиралась отойти подальше, но я сказал ей:

— Заходи, чего там, твоя же идея.

Поколебавшись, Тоня вошла. В кабине было тесно для нас двоих, Тоня прислонилась спиною к стеклу, чтобы быть подальше от меня, но, пока я набирал номер, я почувствовал, как до меня доходит тепло ее тела. Слушая длинные гудки, я повернулся к Тоне, посмотрел ей в лицо, она глядела на меня с серьезным упреком. И совершенно безотчетно я протянул руку и погладил ее косу, мягко лежавшую на груди. Собственно, мне давно уже хотелось это сделать, только случая не представлялось, а здесь, в кабине, это выглядело совершенно естественно, и Тоня, как мне показалось, так это и приняла, во всяком случае, чуть наклонила голову, не протестуя и не отодвигаясь. Тусклый свет уличного фонаря, стоявшего поодаль, падал в кабину из-за Тониной спины, и мое лицо было освещено, а Тонино оставалось в темноте, но мы стояли так близко друг к другу, что я даже чувствовал ее дыхание, и, приглядевшись, я увидел, что глаза Тонины полуприкрыты, а губы шевелятся.

— Ты что-то говоришь? — тоже шепотом спросил я.

— Я говорю: «Гриша»,— почти беззвучно отозвалась она.

И в этот момент дача Ивашкевичей подала признаки жизни. Трубку сняла «бабушкина Жека». Услышав ее голос, слабенький, старческий и все же похожий на голос Маргариты, я растерялся: с Александрой Матвеевной мне было не о чем говорить.

— А, Гришенька, здравствуй! Молодец, что позвонил. Что ж ты к нам на дачу не приезжаешь? Разве тебя Жека

не приглашал? Ну, хотя бы на субботу-воскресенье, мы все будем рады...

Я слушал, выжидая паузы, чтобы вставить хоть словечко, а рука моя продолжала гладить Тонину косу, рыжевато блестевшую в полутьме, и, поднимаясь выше, коснулась ее шеи, прохладной и нежной на ощупь, и очень горячей щеки.

— Я знаю, ты с братиком младшим сидишь,— говорила старушка.— Вот с братиком вместе и приезжайте. У нас здесь раздолье. Клубника, правда, почти вся сошла, но кое-что на грядках найдется. Договорились? Приезжайте без всякого звонка. Адрес знаешь?

Я не успел ответить ни «да», ни «нет», потому что в это время трубку перехватил Женька.

— Маркиз, привет! — завопил он.— Слушай, чего ты жмешься? Завтра же приезжай! Я тут со скуки археологией занялся, раскопки делаю, прямо на участке. Камею нашел византийской эпохи, тринадцатый век, представляешь?

Я представлял себе эту камею: наверняка дешевенькая брошка пятидесятых годов нашего века, которую кто-нибудь за ненадобностью швырнул через забор. Любопытно, что подумал бы Женька, если бы этот автомат работал, как видеотелефон... Я отнял руку от Тониного лица, она вопросительно взглянула на меня, я показал ей глазами на свободное место рядом с собой: придвигайся и слушай. Разумеется, она придвинулась, и мы стали слушать Женькину болтовню вместе, по логике ситуации все теснее прижимаясь друг к другу.

— Слушай, а что это у тебя с голосом? — спросил Женька, когда я что-то ответил на его вопрос.

Не мог же я ему объяснить, что Тонины волосы щекочут мне щеку. Но Женька и не нуждался в моих объяснениях.

— А я тут джиу-джитсу решил подзаняться! — возбужденно продолжал он, забыв уже, о чем сам же спросил.— Тренер есть, кандидат в мастера, инструктор по плаванию, ух, у него приемчики, жаль, по телефону нельзя показать...

Не удержавшись, Тоня фыркнула, и Женька удивленно умолк. Я укоризненно посмотрел на нее: все-таки то, что мы слушаем вместе, не совсем порядочно по отно-

шению к Женьке. Но и Тонино любопытство было мне понятно: она не просто стояла, прижавшись ко мне, она еще и слушала, ей, может быть, первый раз в жизни представилась возможность послушать, о чем между собой говорят пацаны.

— Кто это у тебя там? — подозрительно спросил после паузы Женька.

— Максим, конечно,— ответил я, и Тоня снова фыркнула и, виновато взглянув на меня, зажала ладошкой рот.

— А, Максим...— раздумчиво проговорил Женька и снова принялся распространяться об этом неинтересном для меня инструкторе по плаванию, который в свободное от плавания время обучает наивных людей японской борьбе.

В считанные минуты я узнал, что этого халтурщика зовут Игоряша, что он «законный мужик», что Женька может кинуть теперь любого, включая Тольца, не говоря уже обо мне, жаль только, отпуск у Игоряши кончился, но в Москве его Женька непременно найдет, правда, живет Игоряша далековато, где-то на Юго-Западе, а дачу он снимал у профессора МГУ Еремеева, сам Еремеев умер, вдова эту дачу продает, и если Игорь соберется с деньгами, он эту дачу купит, и уж тогда у Женьки будет свой тренер на каждое лето... Дождавшись момента, когда Женька остановился перевести дух, я равнодушно сказал, что все это интересно, но мне сейчас нужно поговорить с Маргаритой.

Должно быть, я произнес это имя как-то не так, потому что Тоня внимательно посмотрела на меня, а Женька от удивления долго сопел в трубку, потом недовольно спросил:

— Зачем это она тебе понадобилась? Влюбился, что ли, жить не можешь? Ты не оригинален, друг мой.

Я покосился на Тоню — она медленно отодвинулась — и коротко сказал, что у меня к Маргарите д е л о.

— Ладно, даю,— сказал Женька.— Ты меня удивляешь. Ранний интерес к женщинам — это, знаешь ли...

Минутное молчание, сосредоточенная возня у телефона — и голос Маргариты, мелодичный и взрослый, как будто специально созданный для звукозаписи:

— Я слушаю. Добрый вечер, Кузнецов Гриша.

Одной интонацией Маргарита дала мне понять, что ей неясно, зачем она мне понадобилась.

— Послушай, Маргарита,— без всякой подготовки сказал я,— ответь на один вопрос. Есть у вас такой знакомый или родственник?..

И я довольно точно (во всяком случае, подробно) описал приезжего из Вологды, умолчав только о том, что про себя назвал его Кривоносым: а вдруг это и в самом деле близкий родич или старинный друг дома, мало ли что.

Маргарита выслушала меня очень внимательно, не перебивая, по ее дыханию чувствовалось, что мой рассказ ее заинтересовал, потом, понизив голос, сказала:

— Подожди минуту, я перенесу телефон на веранду...— И громко, сердито: — А то тут есть некоторые любители подслушивать!

Я и не знал, что телефон можно переносить с места на место: для меня телефон был аппаратом, намертво привинченным к стене. Я живо представил себе ярко освещенную веранду огромной дачи, темный сад, где смутно светлеют флоксы, и Маргариту, которая садится в шезлонг (или в лонгшез) и принимает «киношную» позу. Это была другая, далекая от меня жизнь, и я твердо сказал себе, что на дачу к Ивашкевичам ни за что не поеду. Да еще с Максимом: явились два братца клубнику есть... Перебьемся мы без этой клубники.

Мое молчание обеспокоило Тоню, она бросила на меня быстрый взгляд и хотела выйти из кабины, тихо прошептав: «Очень тут жарко», но я решительно взял ее за плечо, притянул к себе (она подалась мягко и послушно) и наклонился так, чтобы ей было слышнее.

— Ну? — раздался вдруг между нами голос Маргариты, и мы с Тоней замерли, раскрытые Тонины губы почти касались моей щеки.— Кстати, откуда ты звонишь?

— Из автомата, конечно,— ответил я. Голос у меня стал немного хриплый, и я откашлялся.— А что, собственно, «ну»? У меня все. Один вопрос: есть такой человек или нет?

— Ну есть,— ответила Маргарита.— И все-таки...

— Вопросов больше не имею,— перебил ее я.— Раз есть — значит, все в порядке. Извини за беспокойство. Женьке привет.

— Нет, подожди! — поспешно сказала Маргарита.— Да подожди же, не бросай трубку! Нервный какой!

— Жду,— проговорил я и покосился на Тоню.

Рука моя, которой я прижимал к уху трубку, мешала мне видеть ее лицо, но я чувствовал, что она хочет мне что-то сказать, и, протянув свободную руку, прижал ладонь к ее губам.

— Кто это там рядом с тобой? — спросила Маргарита.

— Никого,— ответил я, опасаясь, что при слове «Максимка» Тоня снова засмеется.

— А где ты нас видел? — шепотом спросила Маргарита, и Тоня перестала слушать, отступила на свое место и оттуда многозначительно взглянула на меня.

— Не вас, а только его,— сказал я.— Ну ладно, мне пора.

— Нет, не ладно.— В голосе Маргариты прозвучало повелительное: «Обождешь, телефонные разговоры я кончаю сама, когда мне хочется».

Я вспомнил, как Маргарита здесь, в московской квартире, не стесняясь ничьего присутствия, вела длинные, часа по полтора, телефонные беседы, то на столик садясь, то на пол, и из ее реплик ничего нельзя было понять: «Да? Ну и что? Ты так считаешь? А мне-то что? Ах, даже так...» И обрывала разговоры всегда неожиданно: «Ну, и дурак. Спать пошла».

— Нет, не ладно! — сказала Маргарита.— А что ты, собственно, хотел узнать? Очень, кстати, симпатичный дядечка, кинорежиссер с «Ленфильма», зовут его Андрей Коновалов. Я у него буду сниматься на второй роли. Вот так-то, Гришенька. Еще вопросы есть?

Мне уже все было ясно, и Тоня ждала, и надо было кончать этот дурацкий разговор. Режиссер с «Ленфильма»? Ради всех святых, снимайся у него хоть на пятой роли, хоть на десятой. Но меня задело Маргаритино «вот так-то, Гришенька», и я со злостью сказал:

— Вопросов нет. Привет Коновалову.

Маргарита уловила, что я злюсь, и звонко рассмеялась:

— Что, Гришенька, не любишь режиссеров? А то давай, я и тебя пристрою, будем вместе сниматься. Внешность у тебя киногеничная.— Она подождала, не скажу ли я что-нибудь, но я молчал.— И все-таки странно... Так где ж ты его видел?

— Как где? В вашей квартире, конечно. Ну ладно, всего хорошего.

— До свидания,— помедлив, проговорила Маргарита, и я с облегчением повесил трубку.

Минуту мы с Тоней молча смотрели друг на друга. Кабина, покосившаяся, с распахнутой дверью на ржавых петлях, с тусклыми стеклами, с разбитой лампочкой на потолке, была сейчас нашим домом, нам не хотелось выходить.

— Вот видишь,— тихо сказала мне Тоня,— все разъяснилось.

— Да, ты была права,— так же тихо ответил я.

Должно быть, в моем голосе слышалось разочарование, потому что, подумав, Тоня сказала:

— Но все равно надо было проверить. Мало ли что...

— Да, конечно,— ответил я.— Мало ли что.

Я протянул руку, чтобы снова коснуться ее косы, но Тоня отвела мою руку и сказала:

— Не надо, я домой, мама будет ругаться.

— Ты ж говоришь, она у тебя добрая,— возразил я, почувствовав себя задетым.

— Добрая,— упрямо ответила Тоня.— Ей только трудно.— И без всякой видимой логики добавила: — Я скоро работать пойду. На шарикоподшипниковый. Ученицей. И буду сама себе хозяйка.

Я посмотрел на нее с удивлением:

— А как же школа?

Тоня пожала плечами, и в кабине у нас стало тихо. Я смотрел на Тоню во все глаза: надо же, сама себе хозяйка! Круглолицая девчонка в длинной вязаной кофте с чужого плеча, в классики сегодня играла, а туда же — «хозяйка». И в то же время я чувствовал, что все именно так и будет: я уже видел ее заранее — в белом халате и белой косынке, завязанной до самых бровей, чтобы волосы не падали на рабочий стол... впрочем, так, кажется, одеваются работницы часовых заводов. А брови у нее были красивые, в широкий разлет, они как бы помогали глазам распахнуться. И еще одно, что делало ее лицо миловидным: соотношение глаз и губ, их линии как-то неуловимо повторяли друг друга. А вот нос был невзрачным — маленький носишко, иконописным его никак не назовешь, греко-римским — тем более. Теперь-то,

по прошествии лет, я знаю, у кого был точно такой же носишко. Сикстинская мадонна с шарикоподшипникового завода... Да, она именно так и сделала, как сказала, и стала себе хозяйкой, но вот зачем она в тот вечер заговорила об этом со мной? Тоня как будто ждала от меня каких-то слов, утешения ли, протеста — не знаю, но я не сказал вообще никаких слов, я просто молчал, как болван, слишком занятый самим собою.

— Скажи мне, Гриша, я некрасивая? — шепотом спросила она и приблизила ко мне свое круглое личико, слабо светившееся в темноте.

Она это сделала так глупо (теперь бы я сказал «трогательно и искренно»), что я засмеялся.

— Здесь трудно разглядеть, вот выйдем на свет — тогда скажу.

— А я не хочу на свет,— возразила Тоня. И, как бы в подтверждение своих слов, отодвинулась в угол кабины, между стеклом и висящим на стенке автоматом.— Я здесь постою, а ты иди домой.

— Так это же тебя мама ждет,— сказал я.— Ты и иди.

Она поежилась, запахнула кофту.

— Сначала ты. Я не хочу, чтоб ты рассматривал меня на свету.

— Здравствуйте,— пробормотал я.— Как будто я тебя на свету ни разу не видел. Да за сегодняшний день успел насмотреться.

— Ну и как? — вскинув голову, спросила она.

— Сама знаешь, как...— ответил я лучшее, что смог придумать.

Тоня подумала.

— Знаю, конечно,— сказала она,— Маргарита красивее. И все равно — я с тобой, а она с каким-то там старикашкой. Кому лучше? Конечно, мне...

— Слушай-ка,— сказал вдруг я, сам для себя неожиданно,— это правда, что ты сказала Максу, что жить без меня не можешь?

Я думал, что Тоня растеряется, но она тихонько засмеялась.

— Все-таки передал...— проговорила она.— Вот разбойник.

— Значит, правда? — настаивал я.

Вместо ответа она посмотрела мне в лицо, и губы ее зашевелились: «Гриша, Гришенька, Гриша...»

Я хотел сделать шаг вперед, но вдруг глаза Тонины остановились, и в ту же минуту в кабине стало темно. Я обернулся — у двери, широкая, мощная, с огромным бровастым лицом, стояла тетя Капа. Мы с Тоней оказались как в мышеловке.

— Антонина, домой! — сказала, не глядя на меня, тетя Капа.

Я отступил к стенке кабины. Признаться, мне было здорово не по себе.

— Пока,— прошептала мне Тоня, протиснулась мимо меня и вышла на улицу.

А я почему-то остался в кабине... Да нет, не «почему-то», а просто ноги отказались мне служить. Операция «Тянитолкай», подумал я. Ну, будет сейчас Тоне...

Когда я вернулся домой, Максимка уже «ухрюкался» (или, в переводе с папиного языка на русский, просто заснул), мама сидела за столом на кухне и перечитывала папино письмо. Она внимательно на меня посмотрела и спросила, все ли в порядке. Я ответил ей, что на улице холодновато, тянет к дождю, и пошел спать. Накрывшись одеялом, я выпростал руку, которая гладила Тонину шею и щеку, дотронулся ею до своего лица... Нет, у Тони другая кожа. Совсем другая. Едва я успел это подумать, как тут же провалился в сон.

16

Проснулся я от настойчивых звонков и долго не мог сообразить, раннее утро сейчас или поздний вечер. За окном был теплый пасмурный свет, низкие тучи искрились, как шелк. Кто-то держал палец на кнопке, не отрывая, потом стал звонить прерывисто, по моей системе, как бы вызванивая: «Куз-не-цов, Куз-не-цов». Приподнявшись на локтях, я очумело смотрел на будильник: там значилась половина восьмого — или без двадцати пяти шесть, разобрать было трудно. Но если еще нет шести, мама должна быть еще дома, почему же она не открывает?

А звонки продолжались: «Куз-не-цов, Куз-не-цов, Куз-не-цов!» Как будто я ломился в квартиру к самому себе. Я вскочил, босиком подшлепал к двери, распахнул. «Может быть, папа?» — спросил я себя, вглядываясь в полумрак. Но на площадке стояла незнакомая женщина. Она была в длинном, узком в плечах и расширяющемся книзу одеянии светлого цвета, на голове — тоже светлый, мягко примятый берет. Через плечо — темная сумка на длинном ремне. Некоторое время я ошеломленно рассматривал ее, забыв, что стою босой и в одних трусах. «Вам

кого?» — хотел было я спросить, но хорошо, что не сделал этого, потому что до меня наконец дошло, что передо мною — Женькина сестра, Маргарита Ивашкевич.

— Здоров же ты спать! — сказала Маргарита, вошла и, отстранив меня, захлопнула за собою дверь.

Тут только я уйкнул и бросился в свою комнату.

— Извини,— пробормотал я, запрыгивая в штаны,— я думал, свои.

— А мы чужие,— отозвалась Маргарита.— Да ладно, не смущайся, подумаешь, Аполлон. Куда проходить?

— На кухню пока.

А что я еще мог сказать? В одной комнате спит Максим, по другой скачу я, путаясь в свободной штанине.

Я натянул рубаху, закатал свою постель в ящик тахты, сунул ноги в сандалии, одновременно обеими руками приглаживая свалявшиеся за ночь вихры. Обернулся — и увидел, что Маргарита стоит на прежнем месте и наблюдает за моими действиями.

— Ну, готов? — спросила она нетерпеливо.— Надеюсь, бриться не будешь?

Мысль о бритье еще не приходила мне в голову, но я машинально потрогал рукой подбородок.

Маргарита усмехнулась, села на мою тахту, и мне показалось, что нашу с Максом детскую комнату осветила огромная ночная звезда, настолько красива была Маргарита. У нее были большущие черные глаза с медовым отливом — в густых мохнатых ресницах, под густыми мохнатыми самолюбиво сведенными бровями... губы, которые иначе как алыми и назвать-то нельзя, и красиво приплюснутый носик... Темная челка спуталась на лбу, но Маргариту это вряд ли заботило.

— Всю ночь не спала,— сказала она, сняв берет и стряхнув с него на пол брызги дождя, потом достала из кармана своего супермодного одеяния пачку сигарет «Новость» (ничего лучшего тогда просто не продавалось).— Тащи сюда пепельницу и рассказывай. Если наврал, накажу.

Пепельницы у нас в доме не водилось, я принес чайное блюдце. Маргарита с варварской жадностью закурила, я впервые в жизни видел девчонку с сигаретой и глядел на Маргариту с изумлением и страхом, как будто наблюдал камлание шамана. А все ведь было понятно: девчонка

желала подчеркнуть свое старшинство. Она окуталась дымом, поморщилась, досадливо прижмурив глаза, похлопала по тахте рядом с собою.

— Садись.

Я сел чуть поодаль, от Маргариты пахло речной водой. Хламида ее, синевато-серая, просторная, шелковисто свистящая, застегивалась у горла стоячим воротничком. Держа сигарету на отлете, Маргарита закинула ногу на ногу, повернулась ко мне, выпустила дым мне в лицо и повелительно повторила:

— Докладывай.

Я вспомнил о Тоне: в сравнении с Маргаритой она была как белая прибалтийская ночь в сравнении с тропическим закатом. Нет уж, простите, сказал я себе, у нас тоже все есть, и, кроме того, мы не любим, когда на нас давят.

— А что докладывать? — спросил я угрюмо.— Что тебя так взволновало?

— Значит, ты видел Коновалова в нашей квартире,— нетерпеливо сказала Маргарита, ерзая и шурша пышной юбкой с чехлом (тогда была такая мода. Теперь в этих многослойных юбчонках отплясывают румбу на танцевальных вечерах).— Когда это было?

— Я же сказал: вчера, в половине второго... Нет, в час.

— Ты что же, к нам заходил?

— Да нет, я только увидел его в твоем окне, решил, что это Женька, и поднялся, а тут он как раз и вышел.

Маргарита, хмурясь, подумала.

— А в чем он был?

— Не помню. Что-то серое.

— Костюм такой светлый в полосочку?

— Да, похоже.

Я начал смутно кое-что понимать. По-видимому, Тонина правота оказалась весьма относительной.

— И как он выглядел? — продолжала допрашивать Маргарита.

— Да я ж тебе вчера рассказывал. Высокий, немного сутулый, лицо худое, волосы черные, прилизанные, глаза такие маленькие, нос утиный...

— Ну, ты уж опишешь...— Маргарита зябко передер-

нула плечами, раздавила окурок в блюдце, поставила блюдце на пол.— Он что-нибудь тебе объяснил?

— Нет, ничего.— Я старался не обращать внимания на резкость ее вопросов и отвечать по возможности четко, подыскивая слова.— Сказал, что проездом и ничего не знает. Он что, не должен был там находиться?

— Где? В нашей квартире? — возмутилась Маргарита.— С какой это стати?

Мне очень понравилось, как она это сказала: я с удовольствием прослушал бы эту реплику несколько раз. «Где? В нашей квартире? С какой это стати?»

Маргарита задумалась, потом нервно обхватила руками колени.

— Похоже, я влипла,— сказала она по-театральному «в сторону».— Если узнает бабушка, мне не жить.

Теперь пришла моя очередь задавать вопросы.

— Ты что же, дала ему ключ?

Маргарита покачала головой.

— Сам-то ключ на месте?

Она похлопала по сумке.

— А ну-ка, проверь.

Маргарита покорно расстегнула сумку, достала фестивальный пятицветный брелок с ключом.

— Так это ж Женькин,— удивился я.

— Ну прямо, Женькин. Он свой посеял давно.

— А ты вчера домой заходила? Может, дверь не захлопнула?

— Нет,— печально сказала Маргарита,— мне некогда было. Я только поднялась почтовый ящик посмотреть, бабушка просила.

— И дверь не открывала?

— Не открывала.

— Точно?

— Ай, отстань.

Приглядевшись к ней, я поверил, что Маргарита и в самом деле не спала всю ночь: лицо ее было смугло и бледно одновременно, особенно скулы, глаза припухли. И все равно она была красива: да что там красива, десять тысяч Лолит Торрес померкли бы перед ней!

— Вот такие пирожки,— без всякого выражения проговорила Маргарита.— Боюсь теперь идти домой.

— Он что, и в самом деле проездом?

— В гостинице живет.

— Номер знаешь?

— Н-нет... Он не велел звонить. Сказал, там в гостинице сердятся, от претенденток отбоя нет.

— А как же вы связь держали?

— Он сам звонил. Сегодня тоже должен, с десяти до одиннадцати.

«Как же, должен, держи карман шире,— подумал я.— Смотался уже из Москвы за Уральские горы».

Тут Маргарита медленно повернулась ко мне, заглянула в лицо, тронула рукой мое колено.

— Послушай, Гриша, ты Женьке друг, помоги. Пойдем, вместе к нам домой сходим. А то одна я боюсь.

— Ну, разумеется, о чем речь,— сказал я, краснея.— Только...

— Что только? Тоже боишься?

— Да нет, Максимка у меня, братик. Один ни за что не останется.

— Подумаешь, посидит полчаса,— с досадой сказала Маргарита.— Сколько ему?

Я не успел ответить, потому что в эту минуту, словно почуяв, что решается его судьба, братишка мой подал голос.

— Эй, кто там? — закричал он из спальни.— Тоня? Иди сюда, Тоня, я здесь!

В глазах у Маргариты загорелось извечное женское любопытство.

— Тоня? — быстро спросила она.— Это какая Тоня? А, знаю, знаю. Смотри-ка, Тоня. Тоня-тихоня... Она что же, тут поселилась?

Я ничего не ответил: много чести. Я встал и пошел к Максимке: братишка мой не терпел промедления.

17

Узнав, что у нас гостья, Максимка пожелал быть не только одетым, но и умытым — и даже зубы взялся почистить, хотя было жалко смотреть, как он это делает. Затем он вошел в детскую и, заложив руки за спину и выпятив живот, стал гоголем ходить из угла в угол,

притворяясь, что уж-жасно занят. Должно быть, красота Маргариты не оставила его равнодушным: с Тоней он вел себя намного проще.

— Да,— с улыбкой сказала Маргарита,— такого одного не оставишь. Активный товарищ.

Максимка перестал вышагивать, остановился, посмотрел на Маргариту исподлобья (она как раз принялась закуривать вторую сигарету), перевел взгляд на блюдце с окурком и вдруг спросил:

— А вы губы красите?

От неожиданности Маргарита поперхнулась дымом, закашлялась и засмеялась одновременно.

— Смотрите-ка,— проговорила она,— разговаривает!

Как будто это была кукла с открывающимися глазами.

— Скажи, Максим,— кончив смеяться, спросила Маргарита,— а Тоня здесь часто бывает?

— Каждый день,— не моргнув глазом, ответил юный провокатор.— Мы с ней серьезными делами занимаемся.

Маргарита захохотала и, бросив сигарету на блюдце, захлопала в ладоши.

— Ну что ты глупости говоришь? — сказал я Максимке сердито, но он не повел и бровью.

— А я, между прочим, книги писать умею,— заявил он, еще больше выпячивая живот.— Возьму и про вас напишу.

Тут только я заметил, что он говорит Маргарите «вы». А к Тоне обращался на «ты», как будто это само собой разумеется.

— Про меня? — вытирая слезы платочком, переспросила Маргарита.— Напиши, будь любезен. Ужасно люблю, когда про меня книги пишут.

Максим тут же, как будто дожидался разрешения, уселся за свой столик, взял тетрадку от «мессершмитта» и принялся писать. А я все это время стоял у окна и смотрел во двор. И не напрасно: хлопнула дверь подъезда, и с зонтиком в одной руке, с хозяйственной сумкой в другой вышла Тоня. Моросил мелкий дождик, Тоня посмотрела в небо, потом перевела взгляд на окна нашей квартиры. Она всегда в восемь тридцать ходила за хлебом — во время каникул, конечно.

Открыв окно, я махнул ей рукой, и даже на таком

расстоянии я увидел, что лицо ее осветилось радостью. Тоня была все в том же платье с «фонариками». Не раскрывая зонта (зонт был черный, мужской, под тросточку), она подошла к нашим окнам поближе, остановилась, глядя на меня вопросительно.

— Ну что? — крикнул я.— Попало вчера?

Она улыбнулась и покачала головой.

— Ты не могла бы зайти?

Тоня не поняла.

— Зайти? К тебе? — спросила она, сама же утвердительно кивая.

— Да! Дело есть! — крикнул я.— Сбегай в магазин и приходи, ладно?

Тоня постояла, оглянулась на свой подъезд, потом раскрыла зонтик и быстро пошла, почти побежала к воротам.

Закрыв окно, я обернулся. Маргарита смотрела на меня во все глаза.

— Дружба, переходящая в любовь? — спросила она после паузы.

Я ограничился тем, что коротко ответил:

— Да. И обратно.

— Ого! — одобрительно сказала Маргарита.— Вот это ответ.

И я, не шибко довольный своим остроумием, пошел на кухню варить Максимке кашку. А кашка-то, между прочим, была уже сварена мамой: сегодня мама, наверно, встала пораньше и успела хоть немного облегчить мне жизнь.

— Максюта! — позвал я братика.— Дописывай и иди завтракать.

Максимка явился через минуту.

— «Воздушный бой?» — спросил я вполголоса, подсаживая его на высокий стульчик.

— Не надо,— так же тихо ответил Максим.— Я сам.

Что ж, сам так сам, гордыня — двигатель прогресса. И я вернулся в детскую.

Маргарита молча протянула мне свежую Максимкину работу.

«Вот пришла к нам девочка, зовут Маргарита, сидит и курит, а дома у ней диверсант».

Братишка мой расстарался: всего лишь несколько ошибок, предлоги вместе со словами, «девочка» через «ы» да «диверсант» через два «и», а так все в порядке, и по стилю, и по содержанию.

— А ты не боишься? — пытливо глядя на меня, спросила Маргарита.

То, что Максим заговорил, как живая кукла, ее удивило, а то, что ребенок написал такую замечательную книгу, ей показалось в порядке вещей. Видно было, что у нее нет привычки и интереса к маленьким детям. Но

вот откуда у Тони привычка? Она ведь выросла одна.

— А что бояться? — сказал я без особой, впрочем, уверенности в голосе.— Твоего режиссера и след давно простыл. И в гостинице его наверняка нету. Где ты хоть его подцепила?

Маргарита вздохнула.

— В метро,— она снова потянулась за сигаретой.— Подошел, представился, документ показал. Членский билет чего-то там такого. Сказал, что с «Ленфильма», что маму мою хорошо знает, что я на нее очень похожа...

Она умолкла, закурила, задумалась.

— Послушай,— сказала вдруг она, глядя на меня почти умоляюще,— а может, это не он?

— Ну, он не он, а все равно был посторонний,— возразил я.— Галлюцинациями, знаешь ли, не страдаю.

— Да нет, конечно, он,— сказала Маргарита печально.— Так странно вел себя, дергался, нервничал... Озирался все время. До дому меня проводил, назначил день пробы... Здесь, на «Мосфильме». Вчера я на пробу как раз приезжала.

— И проба не состоялась?

— Не состоялась. У проходной договорились встретиться, там много девчонок все время крутится. И Коновалова знают, удивляются, что он в Москве. Все страшные, намазюканные, а ждут чего-то, рассчитывают. И я среди них... Да я бы без него обошлась, мне мама с бабушкой не разрешают сниматься... Но Коновалов предупреждал, что может сорваться. «Все-таки я, говорит, не у себя, а в Москве». Я должна была ждать его до двух часов. Если не получится, то он позвонит сегодня. Послушай, Гриша,— она опять запросила у меня пощады,— а может, ничего не пропало?

Но я был беспощаден.

— Погреться он, что ли, заходил?

— Про бабушку все время спрашивал,— медленно, как неживая, продолжала Маргарита.— Я этого больше всего боюсь: если из бабушкиных вещей что пропало. Она не простит...

— Да ну, не преувеличивай...

— Ты ее не знаешь.

Я понял, что Маргарита сейчас заплачет. Глаза ее сделались огромные и влажные, губы затряслись.

— Ну, ну,— пробормотал я и сел с нею рядом, не имея понятия, как утешают плачущих девчонок.— Ну, ну...

Маргарита с яростью погасила сигарету на блюдечке — и заплакала.

— Да скоро она придет, твоя Тонька? — выкрикнула она, вытирая платком слезы.

Максим каким-то образом выкарабкался из стульчика, пришел в детскую и сейчас стоял в дверях и сочувственно смотрел на плачущую Маргариту.

— Гриша всех поймает,— сказал он уверенно.

— Ты уже поел? — спросил я, поднимаясь.

— Все съел и тарелку вылизал,— ответил мой верный Макс.

Когда этот человек в настроении, с ним одно удовольствие работать. В девчачьем обществе он прямо-таки расцветает: эта особенность сохранилась у Макса до сих пор.

Тарелка и в самом деле была так тщательно вылизана, что ее не пришлось даже мыть. Я вытер стол, пожевал хлебушка, стоя, как лошадь, и в это время позвонила Тоня.

Она пришла уже без сумки: видно, успела в булочную и обратно, бежала, конечно, бегом. Стоя на пороге и прижимая сложенный черный зонтик к груди, она смотрела мне в глаза доверчивым и преданным взглядом, и я, быстро оглянувшись, наклонился и поцеловал ее в уголок рта. Это был, как пишут в романах, наш последний в жизни поцелуй.

— Ты что,— я успел почувствовать ее теплый шепот на своих губах,— а Максимка?

И тут она увидела Маргариту. Я, даже не оглядываясь, понял, что Маргарита вышла из детской и смотрит на нас: во-первых, шелковистая хламида ее зашуршала, а во-вторых, Тонино лицо сделалось жалким.

Я пропустил Тоню в прихожую, девчонки, как портнихи, смерили друг друга взглядами с головы до ног, и сразу оказалось, что зонтик мешает Тоне, она стала оглядываться, ища, куда бы его пристроить.

По лицу Маргариты почти не видно было, что она только что плакала, но мохнатые ресницы ее были еще влажные.

— Ну пошли? — нетерпеливо и капризно сказала она.

— Посиди,— ответил я коротко, указав на тахту, и повел Тоню на кухню.

— Хорошо,— тихо сказала Тоня, когда я вкратце объяснил ей, в чем дело.— Я побуду с Максимкой. Только надо маме сказать.

— Ладно, зайду скажу,— пробормотал я, не совсем отчетливо себе представляя, как это возможно.

Тоня обрадовалась.

— Мама разрешит, обязательно разрешит! — поспешно заговорила она, словно боясь, что я откажусь от своих слов.— Она к тебе хорошо относится, она всегда говорила, что ты серьезный...

Для меня было новостью, что тетя Капа вообще как-то ко мне относится и что-то обо мне говорит. «Серьезный...» Ладно, примем к сведению. И мы с Тоней пошли в детскую.

Маргарита была вся в нетерпении.

— Ой, как вы долго...— с досадой сказала она.

Максим стоял на цыпочках возле этажерки и что-то пытался достать с верхней полки. В другое время я обязательно спросил бы его, что он там позабыл, но сейчас мне было не до этого.

— Заходи, заходи, Тоня,— по-хозяйски позвал он.— Я уже позавтракал, будем играть.

— Так не приглашают,— сказал я ему, надевая старую папину парусиновую куртку.— Изволь выйти и поздороваться.

Маленький и деловитый, в синей домашней душегрейке, застиранной до седины, Максим молча подошел ко мне и протянул увеличительное стекло. Вещь, которая, шутки в сторону, и в самом деле могла мне пригодиться.

18

Мы вышли с Маргаритой во двор. Дождь лил теплый, тяжелый, двор превратился в огромную лужу, покрытую пузырями, детская площадка с промокшей песочницей была как жалкий пестренький островок. Казалось, что это естественное и вечное состояние природы: вода сверху, вода снизу, вода плещет из водосточных труб, на лице, на

пальцах рук и за шиворотом — тоже вода. Трудно было себе представить, что бывают на свете сухие и солнечные дни, как вчерашний. В такую погоду с Максимом тяжело, провести целый день с ним в квартире — это, я скажу вам, работенка. Бедная Тоня... Впрочем, мы ж ненадолго. «Казахские сказки» Тоне, наверно, в новинку, а потом займутся кройкой и шитьем.

Маргарита застегнула под подбородком стоячий воротничок своей хламиды и взяла меня под руку. Это мне совсем не понравилось, и не только потому, что Тоня, я знал, смотрит на нас из окна, но и потому, что я не умел ходить «под руку».

Мы подошли к Тониному подъезду, и у меня заныло сердце: надо было идти к тете Капе отпрашиваться.

— Подожди меня здесь,— сказал я Маргарите и высвободил свой локоть,— я к тете Капе схожу.

Маргарита с медленной улыбкой повернула ко мне свое забрызганное дождем лицо. Под дождем глаза ее стали еще более яркими.

— Чудак! — сказала Маргарита.— Какая она тебе тетя? Отвыкай.

— Не понял! — ответил я сердито.

Я и в самом деле не понял, что она имеет в виду.

— Ладно, иди,— насмешливо проговорила Маргарита.— Только быстрее.

Я вошел в подъезд, остановился между двумя дверьми, шумно вздохнул, вытер ладонью мокрое лицо. Сердце у меня тяжело заколотилось, как будто там, внутри, кто-то топал толстыми валенками, стряхивая мерзлый снег. Я живо представил себе, как тетя Капа смотрит на меня из-под косматых бровей («А, явился, голубчик!»), и подходит, и берет меня могучей рукой за воротник парусиновой куртки: «Ну-ка, марш отсюда, паршивец, молоко еще на губах не обсохло, а туда же! И чтоб Тонька немедленно шла домой!» Внутренняя дверь в этом подъезде была на очень тугой пружине, она никак не хотела открываться. Оказавшись в сухом и сумрачном вестибюле, я почувствовал, что не могу сделать ни одного шага: ноги не слушались. Да, я струсил, я самым постыдным образом струсил. Больше того: когда мы с Маргаритой шли наискось через двор, я уже про себя заклинал судьбу, чтоб она не столкнула меня с тетей Капой в подъезде. Значит,

я заранее знал, что обещание мое останется невыполненным. Но в подъезд все же зашел — на тот случай, если Тоня все еще смотрит из окна. И чтобы скрыть от самого себя всю подлость и низменность этой маленькой хитрости, я заставил себя рассердиться на Тоню: да что такое, в конце концов, почему это я за нее должен отпрашиваться? Девчонка, наверно, не представляет себе, при своей убогонькой фантазии, как бы это выглядело: «Тетя Капа, вы не возражаете, если Тоня побудет часок у меня?» Как могла Тоня подумать, что тетя Капа на это согласится? «Ах, бесстыжие твои глаза,— скажет тетя Капа,— это после вчерашнего? Да как у тебя твой поганый язык повернулся?» И так ловко и хитро устроен изнутри человек, что моя злость оказалась бурной и неподдельной, злость буквально захлестнула меня. Да понимает ли она, что, если Капа не разрешит, все полетит кувырком и я с лупой в кармане поплетусь обратно к своему Максимке? А Маргарите придется одной идти в разоренную квартиру, где, возможно, Кривоносый ждет ее со своими сообщниками. Тоне, разумеется, на это наплевать, она ничем не рискует: мама не позволила — ну, что ж, извините, разбирайтесь сами, как знаете, а я пошла домой. Что же мне, тащить с собой Максимку на это опасное дело? Из-за одного человека будут страдать целых трое, но Тоня, конечно, об этом не думает, ей это даже в голову не пришло.

И, потоптавшись для виду в подъезде, сам себя презирая все меньше и все больше, соответственно, злясь, я решительно вышел под дождь, к Маргарите.

Серебристо-серая ее фигурка, будто бы вся отлитая из дождя, одиноко и отчужденно стояла в центре большой черной лужи. Запрокинув голову, Маргарита со странным выражением лица смотрела на свое собственное окно. Видимо, она уверена была в том, что ее ботики не промокают.

— У тебя что, нет зонта? — спросил я, подойдя.

Маргарита мельком посмотрела на меня и ничего не ответила. Но, видимо, что-то в моем лице ее заинтересовало, потому что, бросив взгляд на свое окно, она снова повернулась ко мне и с любопытством меня оглядела.

— Какой на тебе смешной балахон! — распевно произнесла она.

Я про ее одежду мог бы сказать то же самое. Мог, но не сказал, и на душе у меня почему-то стало легче.

— Папин,— буркнул я.— Ну пошли?

— Что, разрешила? — усмехаясь, спросила Маргарита.

Темная челка у нее над бровями вся промокла и закудрявилась, лицо было мокрое и хитренькое. Мне даже показалось, что, спросив меня: «Разрешила?», Маргарита высунула розовый язычок и облизнула губы — вроде как бы с издевкой.

— А как же,— нагло ответил я и уже сам, следуя логике поведения, подхватил ее под острый и одновременно круглый локоток.

Мы пошли к воротам.

Я чувствовал, что Маргарита пытливо поглядывает на меня, но делал вид, что ничего не замечаю.

— Интересный ты человек, Кузнецов Гриша,— сказала она с непонятной мне интонацией, но я оставил эту реплику без ответа. На душе у меня было так путано, что не хотелось говорить и думать уже ни о чем.

Время было относительно раннее, и на лестнице Ивашкевичей оказалось людно: навстречу нам спускался молодой очкарик с портфелем, за ремень которого были заиханы свежие газеты (я машинально подумал, что вот еще один дурак: неужели не ясно, что газеты сразу же промокнут под дождем?), за ним — юная особа в короткой юбочке, короткой черной курточке, темноволосая, коротко подстриженная, она стрельнула в меня острыми черными глазками, чем-то похожая на Буратино, и, замедлив шаги, гордо прошествовала мимо нас, но пролетом ниже не утерпела, оглянулась, пытаясь вычислить, вместе ли мы идем, потому что я уже не держал Маргариту под руку, а уныло плелся сзади.

Нам оставалось всего два лестничных марша, и тут, как это часто бывает, случилось именно то, чего я очень не хотел: открылась дверь квартиры на третьем этаже, и на площадку с хозяйственной сумкой в руке вышла свидетельница моего вчерашнего позора, худая и бледная жена командира Сапегина. Она меня сначала не узнала, я прогромыхал мимо нее в своей задубеневшей куртке и решил было, что грозу пронесло, но вдруг почувствовал, что спину мне, как револьверное дуло, сверлит ее взгляд.

«Не обернусь — и все»,— подумал я, однако во взгляде Сапегиной была физическая сила, лопатками своими я ощущал его болезненный упор.

— Молодой человек! — сказала она пронзительным голосом.

Я замедлил шаг и, не оглядываясь еще, зашевелил ушами: глаза Сапегиной меня так и буравили.

— Эй, паренек, я к тебе обращаюсь!

Маргарита остановилась и с недоумением повернулась, я тоже обернулся и сказал: «Доброе утро».

— А ну-ка, спустись! — грозно сказала Сапегина.

Женщины такого склада часто бывают безразличны к своей внешности. На Сапегиной была серая от старости телогрейка, из-под которой торчали сатиновые шаровары синего цвета, наводившие на смутные мысли о каком-то запущенном восточном гареме.

Я явственно представил себе, как меня волокут под дождем к ближайшему постовому и, естественно, не двинулся с места. Тут, неизвестно по какой ассоциации, мне подумалось, что у Кривоносого на щеке должна была быть небольшая темная бородавка. «Ах, к Жене,— проговорил Кривоносый, задумчиво эту бородавку почесывая.— Ну, тогда извини». Но вряд ли мадам Сапегина разделила бы со мною радость этого открытия.

— Тебе вчера уши не оболтали? — почти улыбаясь, спросила Сапегина, глядя на меня не рыжими и не серыми, а пестренькими глазами. В отличие от меня, она была очень довольна, что со мной повстречалась.— Не оболтали? Тогда пойдем.

В ее словах не виделось никакой логики, но, к счастью, тут вдруг сверху подала голос Маргарита.

— Ну, что вам надо? — спросила она снисходительно.— Идите себе, куда шли.

Сапегина вскипела.

— А ты...— она даже задохнулась от негодования.— А ты что встреваешь, свистушка?

— Ладно, не хамите,— устало проговорила Маргарита.

И, как бы давая понять, что лично для нее инцидент исчерпан, она спокойно повернулась и продолжила свой путь наверх.

Я не разделял ее уверенности и успел-таки с горечью

подумать, что Маргарита спасовала и бросила меня в трудный момент. Но, видимо, я хуже знал людей, чем Маргарита, а может быть, ее знание людей было более, чем мое, функционально: и в самом деле, ввяжись она в полемику с Сапегиной, та окончательно ожесточилась бы и, кто знает, возможно, пошла бы на крутые меры с применением силы, призывом на помощь и прочее. А так — что ей оставалось делать? Люди идут наверх по своим делам и знать ее не желают, она же направляется вниз, так в чем, товарищи, дело? И я, по возможности неторопливо, последовал за Маргаритой.

— А я вот вас обоих отведу куда надо! — крикнула нам вдогонку Сапегина.— Чтоб не ходили.

— Руки коротки,— не оглядываясь, сказала Маргарита.— Иди, Гриша, иди.

Сапегина постояла еще немного и, бормоча что-то себе под нос, стала спускаться. До самого первого этажа, я слышал, она шла и разговаривала сама с собой.

— Да ты не обращай внимания,— чувствуя, что я стушевался, бросила мне через плечо Маргарита.— Известная скандалистка.

Маргарита не знала, естественно, что Сапегина остановила меня неспроста, но я предпочел не развивать эту тему.

Мы остановились на четвертом этаже, перевели дух, Маргарита достала из сумочки ключ.

— Ой, страшно,— тихо проговорила она.

Мне тоже было не по себе, как будто мы вплотную подошли к государственной границе. С одной стороны — свой, понятный, привычный мир, где можно ссориться и мириться, но все-таки на какой-то человеческой основе, а там, за дверью, ходил враг, с которым договориться нельзя. И если Маргарита еще на что-то надеялась, то я знал точно: по ту сторону двери лежала территория, на которой еще вчера хозяйничал враг.

— Дай ключ,— сказал я Маргарите.

Она безропотно протянула мне ключ.

— И помни! Руками ни до чего не дотрагиваться.

Маргарита тут же спрятала руки за спину. Подумать только, минуту назад эта девчонка коротко поставила на место взрослую женщину — и вот она беспрекословно делает все, что я ей говорю. Наверное, линии поведения

на данный случай у Маргариты не имелось, и она предпочла пока во всем довериться мне.

Дверь Ивашкевичей не изобиловала замками: ключ был один-единственный, английский правда, но не какой-нибудь хитрый — обыкновенный и даже невзрачненький ключ. «Непуганый народ»,— подумал я, тщательно осматривая кромку двери. Никаких следов механического вмешательства (так, кажется, пишут в детективных романах? Во всяком случае, именно эту фразу я про себя произнес), ни трещин, ни царапин на двери не было. Мне очень хотелось опробовать лупу, но я почувствовал, что Маргарите это может показаться смешным и мой авторитет упадет.

Я вставил ключ в скважину, повернул, полой куртки прихватил кромку двери. Дверь приоткрылась, пахну́ло ветерком другого жилья. В квартире у Ивашкевичей всегда пахло свежевыглаженным бельем: у домработницы Саши была мания гладить, готовила она, по Женькиным словам, из рук вон плохо, но с утюгом готова была возиться день и ночь напролет. Прачечным Саша не доверяла, впрочем, сдать белье в прачечную в те времена было довольно громоздким и хлопотным мероприятием. Запах свежего постельного белья здесь впитался в стены. Чуть огрубляя, можно было бы сказать, что в квартире Ивашкевичей пахло как в гостинице, но только тоньше и, я бы сказал, чище. У Тони, как я уже говорил, в квартире пахло сухою травой, а чем у нас — я не знаю, это может почувствовать только посторонний человек.

Мы вошли, осторожно прикрыли дверь. Ну, разумеется, в квартире никого не было. Где-то в одной из двух туалетных комнат весело журчал унитаз. Прихожая полна была сумрачно-зеленого влажного света: за высокими окнами гостиной плескался дождь.

— Где ты его видел? — шепотом спросила меня Маргарита.

Она сняла берет — и только, даже сумку не скинула с плеча, не сделала ни шагу вперед, держась как незваная гостья. Такою я видел ее много позднее в одном из наших мелодраматических фильмов: жена-беглянка возвращается в брошенный дом и стоит на пороге в застегнутом плаще, с чемоданом в руке, не решаясь ни к чему прикоснуться. Я убежден, что этот кадр (или как там вы-

ражаются в кино — мизансцена?) навеян был нашим с нею приходом в поруганную, но родную квартиру.

Не стану озадачивать вас пространным, в духе прошлых веков, описанием всех семи комнат этого большого и в то же время тесного (из-за обилия дверных проемов, арок, углов, тупичков и боковых коридорчиков) запутанного жилища. Отмечу лишь, что «бабушкина Жека», сторонница чистоты и строгая противница портьер с оборками и рюшами, держала все без исключения внутренние двери совершенно голыми, выкрашенными простой белой краской, отчего квартира в целом еще больше, не только запахом, но и внешним видом, напоминала добротную провинциальную гостиницу. Еще скажу, что меблирована она была бедновато, с моей сегодняшней точки зрения, разумеется.

— Так где ты его видел? — шепотом спросила меня Маргарита.

Я все еще прислушивался к квартирным шумам, одновременно завороженно глядя на Маргариту, и вдруг сообразил, что вижу ее в зеркале. Да-да, стоя за моей спиной, прислонившись к двери, Маргарита отражалась в том самом овальном зеркале, на месте которого вчера я явственно видел два толстых крюка и темное невыгоревшее пятно на обоях. Это настолько меня поразило, что я не ответил на Маргаритин вопрос и, подойдя на цыпочках к проклятому зеркалу, с идиотским видом стал пытаться за это зеркало заглянуть.

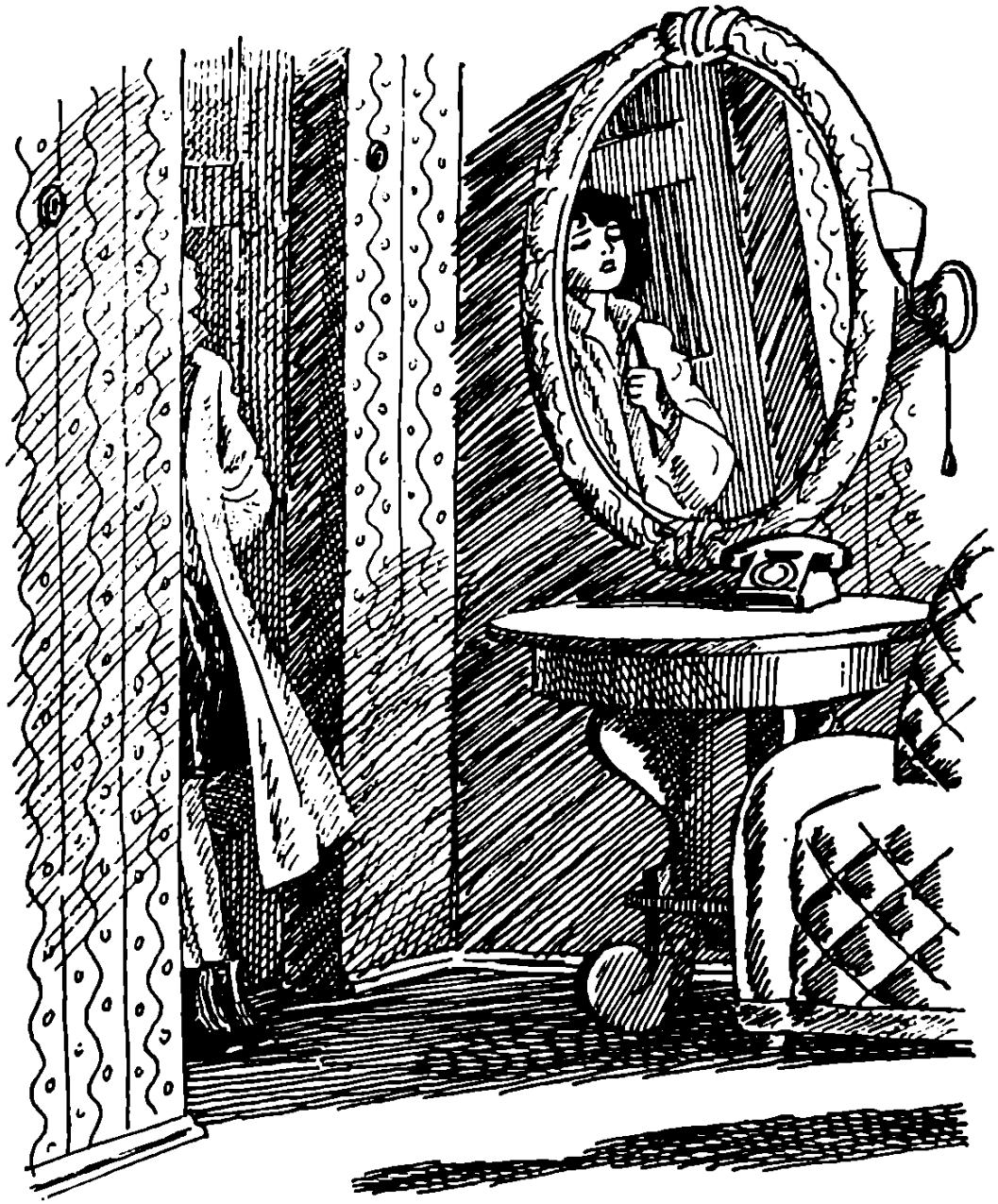
Позвольте, товарищи. Или я окончательный псих, или это зеркало вчера было снято, а потом снова повешено. Но зачем? С какой целью? Что-нибудь искали такое, что могло быть спрятано между зеркалом и стеной? Но крюки и петли с тыльной стороны зеркала обросли толстыми сизыми аксельбантами нетронутой паутины, это было видно и невооруженным глазом.

— Какая-то мистика,— пробормотал я.

— А что такое? — беспокойно спросила меня Маргарита.

— Так, ничего,— коротко ответил я, решив поразмыслить об этом открытии как-нибудь потом, на досуге.— Ты спрашиваешь, где я его видел?

Я огляделся, бережно отстранил Маргариту (именно бережно: здесь, в этом доме, где побывал чужой человек,



она выглядела потерянной и жалкой, ее надо было беречь) и встал на то место, где стоял Кривоносый. Встал и машинально потрогал рукою щеку — и на секунду (да что там на секунду, короче вспышки молнии!) сам стал Кривоносым: голова моя, как едким белым дымом, наполнилась злобой и страхом, глаза скосились к переносице.

— Вот так он стоял,— сказал я.— А кстати, у твоего Коновалова есть на щеке бородавка?

Я сам уже твердо знал: бородавка была.

— Н-не знаю...— неуверенно проговорила Маргарита.— Вообще-то лицо у него кислое, как будто он аскорбинку жует.

Она замолчала, и мы посмотрели друг на друга с недоумением: вроде бы я спросил по-китайски, а получил ответ на арабском языке. Сейчас-то я знаю, в чем дело: актеры запоминают не лица, а выражения лиц.

— Ну ладно,— сказал я,— пошли обследовать.

19

Позднее многие взрослые (а еще позднее — ставший взрослым Максим) пеняли мне, что мы действовали совершенно безграмотно и занимались, в сущности, самоуправством, а кроме того, еще и серьезно рисковали. «Да, без понятых, без участкового,— прочитав эти страницы, сказал мне Максим,— ты много на себя взял, старикашка». «А ты-то сам хорош! — парировал я.— Вместо того чтобы совать мне увеличительное стекло, остановил бы меня, раз такой умный». Но если разобраться, я сделал все, что мог: увидел чужого, удивился, позвонил хозяевам, а в квартиру меня привела уже Маргарита, которой вовсе не нужна была огласка, ведь получилось так, что она сама навела на свой дом Коновалова.

И мы с нею, осторожно ступая, как по болоту, направились в глубь материка, в левую парадную сторону: я впереди, Маргарита чуть сзади. Как ни парадоксально, таинственное возвращение на место «венецианского» зеркала меня успокоило: не то чтоб на этом основании я пришел к выводу, что Кривоносый мне тоже померещился, но встретиться со злодеем в квартире я больше уже не боялся, и если ступал осторожно, на цыпочках, то больше для Маргариты — и повинуясь, конечно же, правилам игры.

Я, правда, ожидал увидеть повсюду разгром и раззор, но все комнаты, расположенные вдоль фасада (гостиная, смежная с нею комната для приезжих, кабинет Александры Матвеевны, Женькина комната и родительские, как говорил мой приятель, «покои»), были чисты и тщательно

прибраны. Порядок осмотра, который я про себя называл предварительным, был таков: я входил первым, осматривался, пропускал Маргариту, она проходила в центр комнаты и, ни до чего не дотрагиваясь и ни к чему близко не подходя, проверяла взглядом, все ли на местах. Ни одна из комнат, кроме гостевой, не запиралась на ключ: территориальную неприкосновенность обитатели квартиры соблюдали по молчаливому соглашению.

С каждой минутой Маргарита становилась смелее. В гостиную и гостевую она входила пугливо и неуверенно, как посторонняя, осматривала все придирчиво, подолгу задерживаясь взглядом на каждом пустяке, а затем, посмотрев на меня, недоуменно пожимала плечами: «Все цело». Бабушкин кабинет, видимо, особенно ее беспокоил: позднее Маргарита призналась, что в эту комнату она вступала не чаще, чем раз в два-три месяца. Войдя в кабинет, она очень долго стояла, не двигаясь, посередине, пока я наконец не поторопил ее своим нетерпеливым: «Ну?» Тогда она повернулась ко мне и, облегченно улыбаясь, проговорила: «Царица небесная, мать-богородица, ничего не пропало». На этот счет у меня имелись сомнения, но я не стал о них ничего говорить: зачем раньше времени огорчать? В Женькиной комнате Маргарита не желала задерживаться: так, взглянула поверх моего плеча, неопределенно промолвила: «Ну тут, собственно, что?» и двинулась дальше по коридору, на ходу снимая свой шелестящий плащ-балахон — не знаю, как его назвать, а жаль, потому что сейчас опять такие носят. В родительских «покоях» она уже рассеянно прохаживалась, волоча за собой по полу плащ, мельком взглянула на себя в трюмо и совсем уже собралась усесться в отцовское кресло, но я покачал головой, и она только покосилась на это кресло с таким недовольным видом, как будто поперек него был натянут музейный шнур. А я — я не то чтобы испытывал разочарование, но недоумевал: черт меня побери, если все цело, так чем же здесь занимался Кривоносый? Должно быть, на моем лице отразилось это противоречивое чувство, потому что Маргарита вдруг громко рассмеялась (от неожиданности я даже вздрогнул) и в полный голос сказала:

— Послушай, Кузнецов, а ты не это самое... не шизоид?

И юмористически покрутила растопыренными пальчиками возле виска.

Весь побагровев и напыжившись, я пробормотал, что рано судить, мы не все еще осмотрели.

— Да что там смотреть? — возразила Маргарита.— Ну, моя комната, еще кухня, две кладовки — в том конце больше ничего нет. И остались одни туалеты. Уж не хочешь ли ты сказать, что Андрей Коновалов коллекционирует крышки от унитазов?

Я разозлился.

— Хочешь верь, хочешь — не верь, но я его видел, твоего фальшивого Коновалова. Пожалуйста, могу уйти, оставайся одна.

Маргарита, улыбаясь, приблизилась ко мне, снисходительно погладила меня по голове.

— Что ты волнуешься, дурачок? Ну, давай посмотрим мамины побрякушки. Уж если они не пропали...

Отстранившись, я сухо ответил в том смысле, что, мол, дело хозяйское, я никого не держу.

Маргарита подошла к трюмо, стоявшее в комнате ее мамы, выдвинула ящик, достала какую-то плошечку; я угрюмо наблюдал за нею через открытую дверь кабинета Ивашкевича-старшего.

— Ну, иди сюда, смотри! — торжествующе позвала меня Маргарита, двумя пальцами поднимая что-то похожее на пучок спутанных толстых ниток.

— Драгоценностями не интересуюсь,— ответил я и с независимым видом прошел мимо Маргариты в коридор, хотя мне очень хотелось краем глаза взглянуть на драгоценности, которых я в жизни не видел: у моей мамы никаких «побрякушек» не было, если не считать обручального кольца.

Я вернулся в комнату Александры Матвеевны. Ее кабинет был и в самом деле приспособлен для работы. С трех сторон — дневной свет, широкие окна с распахом на всю улицу, между окнами просторный письменный стол с двумя тумбами и барьерчиком по краям, чтобы бумаги не сползали на пол, на темно-красной поверхности столешницы — малахитовый письменный прибор, настольные часы с двумя серебряными (так мне показалось) статуэтками, как бы держащими на плечах заключенный в шарообразный корпус механизм, сбоку — деревянные

ящики для картотеки, зачехленная массивная пишущая машинка. У боковых незастекленных простенков — два высоких и глухих шкафа с множеством мелких выдвижных ящиков.

— По заказу делали,— сказала из-за моей спины Маргарита,— там у бабушки бумаги лежат.

— Сложный человек твой Коновалов,— пробормотал я упрямо,— часы, видите ли, ему не нужны. Дай-ка платочек...

Маргарита, подойдя, протянула мне слегка надушенный крохотный платочек с кружевными краями. Я взялся платком за висячую бронзовую ручку верхнего ящика левого шкафа (там была замочная скважина, и по логике он должен был запираться на ключ), потянул — в ящике было пусто.

Не скажу, что я обрадовался этому открытию, но на душе у меня стало легче. Я бросил на Маргариту такой взгляд, что она сразу же подошла, приподнялась на цыпочки, заглянула через мое плечо.

— Пусто...— сказала она упавшим голосом.

— Ну, ну, спокойно,— строго ответил я.— Только без паники. Что здесь было?

— Бумаги...— прошептала Маргарита.

Я еще ни разу не видел, как люди бледнеют от страха: от злости — сколько угодно, но от страха, теперь-то я знаю, бледнеют не так. Кровь отлила от ее лица так внезапно, что даже губы сделались голубыми. Голубыми, как белки́ глаз. Видимо, смысл сказанного только-только до нее дошел.

— Какие бумаги? — спросил я.— Или не знаешь?

— Откуда я знаю...— еле шевеля губами, неживым голосом ответила Маргарита.— Ценные...

Тут я с полным правом вынул из кармана куртки лупу, осмотрел кромку ящика и язычок замка, провел платком по шершавому фанерному дну. Платок остался почти чистым.

— Ай,— тихо сказала Маргарита и, махнув рукой, побрела из кабинета в коридор.— Дура я, дура, обрадовалась...

Ей не нужно было объяснять, какими изысканиями я занимаюсь. «Вот тебе, голубчик, и вторая роль,— подумал я.— Ты на второй, а кто-то на первой».

Оба остальных ящика с замочками в этом шкафу были тоже не замкнуты и пусты, в нижних (без замочков) остались нетронутыми, видимо, менее ценные бумаги. То же самое и в правом шкафу: закрывающиеся ящики пусты, в остальных все цело. Дешево и сердито: куда как просто понять логику аккуратной старушки и забрать то, что запирается на ключ, а во всех прочих бумажонках нет смысла копаться.

Я пошел искать Маргариту. Она сидела в своей комнате на тахте почти в той же позе, которую я подсмотрел с пожарной лестницы. Вот она, эта лестница, из окна ее прекрасно видно. Я еще раз увидел себя висящим там, за окном, на морозе, и уши мои вспухли от стыда. «Так тебе и надо, болван,— сказал я себе в сердцах,— всю жизнь теперь будешь мучиться». И в то же время сердце у меня сжалось от радостного сознания, что вот он я — стою в этой комнате, куда лез, рискуя жизнью, чтобы только взглянуть.

Плащ Маргариты, который она приволокла с собой, теперь потихоньку, как живой, шелестя, сползал со стула на пол. Сама Маргарита, подобрав под себя ноги, полулежала, опустошенно глядя в пространство погасшими глазами и водя по губам прядкой волос. Губы у нее сейчас были ярко, даже огненно-красные, а лицо еще больше побледнело.

— Клипсы пропали,— вяло проговорила она, когда я вошел.

— Какие клипсы? — глупо спросил я, думая совсем о другом.

— Ну какие... Чешские. Черный овальчик такой из вороненой стали, а вокруг хрусталики.

— Дорогие?

— Да не особенно. Тридцать пять рублей. Просто хорошенькие. Я их любила. Вот здесь,— она хотела, наверное, протянуть руку и показать, но рука только слабо шевельнулась,— вот здесь, на столе, оставила.

Я подошел к столу, придвинутому вплотную к подоконнику, выглянул в наш двор. За пеленой дождя виднелось дальнее крыло нашего дома, окно в детской, где Тоня читает Максимке казахские сказки...

Вот так и он, Кривоносый, стоял вчера возле этого окна, руками он, наверно, опирался о столешницу... Ай,

какая досада! На краю стола остались отпечатки и правой, и левой моей пятерни. Тоже мне сыщик! Я осторожно стер следы Маргаритиным платочком — свои и, наверное, Кривоносого, если он не был осторожнее, чем я. Маргарита ничего не заметила: чудачка, она горевала об утраченных дешевеньких клипсах. Впрочем, это сейчас я считаю их дешевенькими, тогда-то тридцать пять рублей (по-теперешнему три пятьдесят) представлялись мне вполне солидной суммой, тем более что о стоимости подлинных драгоценностей я имел лишь смутное представление. Вороненая сталь, хрусталики... Просто попались мерзавцу под руку, взял и положил в карман. Может, у него дочка есть... Или нет, подарит какой-нибудь дурочке, мечтающей сниматься в кино.

— Послушай, Маргарита,— сказал я, повернувшись к окну спиной.

Но Маргарита меня не слышала, она плакала, уже не вытирая слез, и все водила прядкой волос по губам.

Я тронул ее за плечо, худое и горячее, она вздрогнула, подняла на меня свои черно-медовые мохнатые мокрые глаза. Лицо у нее было уже совершенно деформированное от рева, нос и губы распухли.

— Кончай слезы лить, успеешь еще,— сказал я.— Ты вот что мне скажи: на дачу бабушка взяла с собой какие-нибудь бумаги?

— Взяла,— судорожно вздохнув, ответила Маргарита, забрала у меня платок, вытерла щеки и высморкалась.— Одну папку, большую такую, с четырьмя тесемками. Но это рукопись, она всегда на столе у нее лежала.

— Ты уверена, что рукопись?

— Конечно. Мы с Женькой ее читали.

— Интересно?

Маргарита, успокаиваясь, снова сдавленно, с перерывами, вздохнула.

— Как тебе сказать... Воспоминания. Может, кому-нибудь и интересно. Рассказывает она хорошо, а пишет очень уж сухо.

Она спустила ноги с тахты, машинально оправила пышную юбку, положила руки на колени, понурилась.

— Но в этих ящичках другие бумаги лежали. Там письма разных писателей, Горького, Бунина, кого-то еще... Да, Алексея Толстого. И всегда были заперты, я

дергала. А теперь открыты, и ничего нет... Как я скажу? Она же знаешь какая... В кино сниматься — думать не смей: «Смазливое личико — это еще не талант». Сказала — и все. И вот — пожалуйста... Больше всего боялась... И клипсы пропали...

— Ладно, хватит о клипсах,— остановил я ее.— Пошли звонить.

— Куда? — Маргарита послушно поднялась.— Уже в милицию?

— Да нет, пока в гостиницу, твоему режиссеру. А если его нет, то и в Ленинград позвоним, на «Ленфильм». Кстати, деньги у тебя есть?

— Есть,— Маргарита подняла с полу сумочку.

— Пока не надо. Но мало ли что.

В глубине души я был уверен, что и гостиница, и «Ленфильм», как сейчас говорят, сплошная туфта. Но все равно эти линии надо проверить.

20

В прихожей мы поудобнее расположились у телефонного столика: Маргарита села в кожаное кресло и принялась листать телефонную книгу, а я присел на край столика, сдвинув в сторону аппарат, и сверху наблюдал, как Маргарита озабоченно, но без особой охоты ищет номер гостиницы. Ну разумеется, снисходительно думал я, ведь мы — такие гордые, такие независимые, такие красивые, станем мы звонить в гостиницу какому-то режиссеришке! И номер его телефона нам вовсе не нужен: захочет — сам позвонит. Себе я казался в тот час мрачным и саркастическим демоном: о боже, какие ж они все дурачки! Кто «все»? Да все, и Коновалов злополучный в первую очередь. Уж если человек решил ухлопать себя целиком на ограбление квартир, то как же он мог оставить столько следов? Одно название гостиницы делает его положение безнадежным.

Что же касается бумаг, то в ломбардах их, наверно, не принимают: нужен клиент, хотя бы слышавший о существовании Бунина. Кстати, я сам этого Бунина тогда еще не читал, но имя слышал, а вот по плебейскому лицу

Кривоносого мог бы судить, что не знает он на дух ни про какого там Бунина. Мне так и виделось, как он с презрительной гримасой переспрашивает: «Чего?» Какое-то тут есть противоречие... Но додумать эту сложную мысль до конца мне мешала Маргарита.

На ней была белая нейлоновая блузка, настолько прозрачная, что сквозь нее видны были не только все подробности конструкции крепенького лифчика, но даже две родинки на спине, и, сколько я ни старался держаться мужественно и отстраненно, эти родинки очень меня волновали. Хотя что такого? На ней их, должно быть, полно.

— Боюсь...— прошептала Маргарита, набрав номер и прикрыв микрофон трубки ладошкой.

— Еще чего! — сурово сказал я, несколько задетый тем, что Маргарита совершенно не чувствует моего взгляда.— Это он тебя должен бояться.

В трубке явственно запищало — занято. Маргарита с облегчением положила ее на место и вопросительно взглянула на меня: что дальше?

И в это время грянул телефонный звонок — требовательный, резкий и злой, как тявканье избалованной комнатной собачки.

— Значит, так,— быстро сказал я.— Если он, говори, что только-только вошла, назначай встречу в любое время, в любом месте, там разберемся.

Телефон продолжал трезвонить, захлебываясь от нетерпения.

— Да, но если это он,— проговорила Маргарита, глядя на меня расширившимися и как бы остановившимися глазами,— если это он — значит, это не он...

— «Он — не он»! — передразнил я.— Делай, что тебе сказано!

Маргарита подняла трубку, дрожащим голосом произнесла: «Вас слушают» — и резко выпрямила спину, как будто сквозь нее пропустили ток.

— Андрей?

«Вот как,— вяло подумал я,— все-таки Коновалов — а для нее это просто Андрей. Позвонил-таки, не испугался. Самоуверенный дурак».

— А я только что вошла! — высоким, неестественно бодрым голосом говорила Маргарита. И после паузы: — Да разве на тебя можно надеяться?

Даже «на тебя»! Прекрасно. Впрочем, «на тебя» прозвучало подчеркнуто: в такой плачевной ситуации эта актерка хотела мне показать, что она состоит в близкой дружбе с режиссером.

— Ах, мы такие обязательные, такие надежные...— лукаво и кокетливо говорила Маргарита.

Если бы не ее заплаканные глаза, трудно было бы даже поверить, что пять минут назад она безутешно рыдала. Но Коновалов Маргаритиных глаз не видел, а с голосом у нее было почти все в порядке, напрасно я беспокоился.

Последовала долгая пауза: Коновалов, по всей вероятности, отчитывался перед Маргаритой за вчерашний день. И началась конспиративная беседа, состоящая из одних междометий и вспомогательных слов:

— Вот как! Ну, что ж... Ах, даже так... Это извиняет, но не оправдывает... Искупай, искупай... Ну, это крайность. Ах ты страдалец! Но пережил? Могучий старик!..

После каждой реплики Маргарита взглядывала на меня все более многозначительно и наконец, когда пауза затянулась, устремила в мою сторону самый свой лучистый и победоносный взгляд. И, как будто по телефонному проводу в нее вливали глюкозу, она сразу порозовела, прямо-таки расцвела.

«По-видимому, этот Коновалов — мастер охмурять девчонок»,— подумал я и на блокноте с привязанным к нему бечевкой карандашом написал: «Ближе к делу».

— Муля, ты меня убиваешь! — воскликнула Маргарита и звонко расхохоталась.

Смех у нее был такой заразительный, вкусный, смеялось все в ее лице, и огромные глаза, и яркие губы, и щеки, и кончик вздорного носа, и даже, казалось, темная челка на лбу, что я не выдержал и тоже заулыбался, как дурачок, хотя мне было совсем не до смеха, я был чужой на этом празднике радости. Позднее я не раз видел, как Маргарита смеется с экрана: раскованно, светло и, казалось бы, бездумно, но с легкой хитринкой, не с издевкой, а именно с хитринкой («Вы, чудаки, и догадаться не сможете, над чем я смеюсь!»), и редкий зритель в зале мог удержаться от ответной улыбки. На сей раз чудаком был я, Гриша Кузнецов, не знающий, о чем там, на другом конце провода, говорит матерый режиссер Коновалов.

Смеясь, Маргарита придвинула к себе блокнот, небрежно прочитала, прижала трубку плечом к щеке и, освободив таким образом левую руку, вырвала листок и скомкала.

— Да, да...— несколько раз повторила она.— Хочу. Конечно, хочу. Что нам ливни и туманы? Лады, ладушки. Нет, честно, хочу.

Она с таким наслаждением выговаривала это свое «хочу», что мне стало грустно и обидно: передо мной раскручивалась другая жизнь, жить которою я никогда не научусь. Даже выговорить все эти «Муля» и «ладушки» с непередаваемой интонацией кастовой доверительности я не сумел бы.

— Вас понял,— торжественно произнесла Маргарита.— Вас понял. Ладушки. Я тоже.

Она положила трубку и, откинувшись к спинке кресла, с ликующей улыбкой сказала:

— Через час в гостинице. Нет, Гришенька, это не он! Не он, сто процентов!

— Допустим, не он,— согласился я.— Так, значит, кто-то другой. Тем хуже.

— Почему хуже? — все еще горя оживлением прошедшей беседы, Маргарита недоумевающе наморщила лоб.

— А потому, что другого-то где искать, мы не знаем. Бумаги пропали? Пропали. И нечему пока радоваться.

Лицо ее затуманилось на минуту — и вновь просветлело. Так, темная тучка величиной с носовой платок пробежала и прикрыла ясное солнышко.

— Но я не виновата! — убежденно сказала Маргарита.— Если кто-то другой, я не виновата!

— Сперва я все-таки на него посмотрю,— сказал я.— Вот тогда и будут твои «сто процентов».

— Да, да, конечно,— Маргарита закивала.— Это надо сделать, обязательно надо.

Но в голосе ее звучало другое: смотри не смотри, Коновалов тут ни при чем. А для меня это вовсе не было очевидным. Конечно, я удивился, что режиссер дал о себе знать, по логике вещей ему полагалось быть уже где-нибудь в Нахичевани, но факт его присутствия сам по себе еще ничего не доказывал. Если человек настолько хладнокровен, что назначает девице свидание на Мосфиль-

мовской, а сам в это время забирается в ее квартиру и шарит по ящикам с бесценными бумагами, то у него хватит наглости не моргнув глазом выслушать любое обвинение. «Да вы что,— скажет он, глядя на нас стеклянными глазами,— с ума посходили? Какие ящики, какие письма? О чем вы, друзья?» Конечно, от того обстоятельства, что я его видел и с легкостью узнáю в лицо, ему будет трудно отвертеться. Но во-первых, он вряд ли догадывается, что между мною и Маргаритой есть какая-то связь: для него Маргарита — взрослая уже девица, с которой можно и амуры крутить, а я — просто пацаненок, случайно забежавший приятель ее младшего брата. А во-вторых — может быть, ему от Маргариты надо еще что-нибудь, помимо ценных бумаг ее бабушки.

— А ты уверена, что разговаривала с тем самым? — спросил я Маргариту.

Она удивилась.

— Ну что же я, совсем уже дура?

Во мне проснулось какое-то тупое благоразумие — а может быть, не понравилась мысль, что Коновалов будет вот так же, как я, почти в упор, рассматривать ее прозрачную блузку.

— Давай-ка все-таки в милицию позвоним,— сказал я сварливым голосом и потянулся к телефону.

Маргарита быстро, как кошка, схватила меня за руку.

— Ты что? Задержат неповинного человека, допрашивать начнут! Это же будет кошмар!

На лице у нее был неподдельный ужас. Ну да, конечно, надежды на вторую роль тогда сведутся к нулю.

— Ладно,— сказал я, вставая.— Поехали, поглядим на твоего режиссера. Только ты это...

Я замялся и покраснел, жалея уже, что начал. А Маргарита как раз мгновенно уловила, что будет сказано что-то интересное. Она смотрела на меня снизу вверх со спокойным любопытством человека, которому обещали показать карточный фокус и теперь уже не отвертятся. При этом Маргарита как-то очень по-женски, ласково и в то же время небрежно поправляла обеими руками волосы у себя на висках.

— Переоделась бы, что ли,— нарочно грубым голосом договорил я.— Не человек, а стеклянный шкаф.

Тут Маргарита посмотрела на меня с таким интересом,

как будто впервые увидела. Потом, усмехнувшись, сказала:

— Не много ли ты на себя берешь, мой милый?

— Во-первых, я тебе не «милый»,— запальчиво ответил я,— а во-вторых...

Я и сам не знал, что там будет «во-вторых», но, к счастью, Маргарита меня не дослушала.

— «Во-первых, во-вторых»! — передразнила она и поднялась.— Ладно уж, так и быть...

Бессовестной походкой, расставив локотки и вихляясь, Маргарита прошла через переднюю, остановилась под аркой и, полуобернувшись ко мне, высокомерно добавила:

— Побережем твою детскую психику.

21

Мне очень не хотелось идти домой и предупреждать Тоню, что мы с Маргаритой едем «опознавать» Коновалова: гораздо проще было бы махнуть прямо в центр и уж потом, по возвращении, оправдываться. Но я хорошо изучил Максимкин характер и знал, что так долго Тоне не продержаться.

Нет, Тоня с Максимкой отлично поладили, они досыта наигрались в пуговичную войну, но наше с Маргаритой отсутствие показалось Максиму неприлично долгим, он прекратил все игрища и решительно потребовал одеть его для выхода на улицу. Мы с Маргаритой застали их стоящими возле дверей: Тоня — со своим кошмарным зонтиком; братишка мой — в длинном голубом хлорвиниловом плаще, которым Макс очень гордился, хотя и успел порвать его на спине. В этом плаще мой братец был похож на полупрозрачную аквариумную рыбку. Папа привез дождевик для меня, это был один из первых образчиков продукции отечественной бытовой химии, но я отказался залезать в голубой плащ, и папа собственноручно перекроил и перекленл его на Максимкины размеры. От Максова дождевика неистребимо и резко пахло химией, и я еще на площадке сквозь дверь учуял, что мой братишка рвется на свободу.

— А мы опять тебя искать! — смущенно сказала То-

ня, бросив на Маргариту быстрый взгляд.— Ждали-ждали...

На меня она смотреть избегала, и это было мне на руку, поскольку я чувствовал себя не вполне уверенно: тут и трусость моя, и еще что-то, неясное мне самому. Глупо, но я очень боялся, что Тоня заметит, что Маргарита пришла переодетая: как будто бы разумелось само собой, что это произошло по моему настоянию. И конечно же, Тоня заметила, а проклятая актерка, как нарочно, расстегнула свой балахон и, демонстрируя серый костюмчик с черным бархатным воротничком, подбоченилась.

— И еще подождете,— безапелляционным тоном сказала она.— Погуляйте пока под дождиком, а нам нужно съездить кое-куда.

— Нашли диверсанта? — деловито спросил Максимка, глядя на меня из-под острого капюшона.

— Да нет...— уклончиво ответил я, думая лишь о том, как бы заставить Максимку разоблачиться.— Надо на одного человека взглянуть. Мы туда и обратно. Но это...— я сделал многозначительную паузу,— это на другом конце города...

— Такси придется ловить,— взглянув на наручные часики, сказала Маргарита — и тем самым разрушила все задуманное мной построение. Большие расстояния Максимку пугали, но на такси он не ездил ни разу в жизни, и теперь остановить его могло лишь прямое попадание атомной бомбы.

— Я пистолет возьму,— сказал Максим и, широко шагая (в своем дождевике он всегда шагал широко, как лесник), направился в детскую.

— Да, плохо придется гражданину Коновалову...— пробормотал я.

Поскольку шутка мне показалась удачной, я посмотрел на Тоню, потом на Маргариту — ни та, ни другая даже не улыбнулись: Тоня озабоченно разглядывала подол помявшегося (наверно, от сидения на полу во время пуговичной войны) платья, Маргарита нетерпеливо шуршала плащом.

— Послушай, человек же ждет! — сердито сказала она.

— Я готов! — заверил, выходя в прихожую, Максимка.— Боюсь, пистоны только отсыреют.

Ну, что мне оставалось делать? Спросить: «Тоня, ты посидишь еще?» — я не мог: это было бы уже не предательство, а кое-что похуже: пренебрежение. А, ничего, мол, с тебя не убудет. И я принял единственно верное в данной ситуации решение.

— Добро,— сказал я и протянул Максимке руку.— Поехали.

— Ты что, Кузнецов? — возмутилась Маргарита.— Соображаешь, что делаешь?

— И Тоню с собой возьмем,— непримиримо сказал Максим.

— И Тоню с собой возьмем,— согласился я.— Она нам будет раны перевязывать.

Тоня посмотрела на меня и непонимающе улыбнулась.

— Да ты не волнуйся,— успокоил я Маргариту.— Так даже лучше. Мы сами по себе гуляем, а ты сама по себе.

Маргарита нахмурила свои красивые брови, подумала.

— Ай, ну вас, как хотите,— сказала она наконец.— Время только теряем.

И мы в торжественном молчании спустились по лестнице и вышли во дворе. Еще, наверно, ни разу в мировой детективной практике на ловлю преступника не выезжала такая отборная группа: впереди — будущая кинозвезда в сером блестящем балахоне, за нею я, похожий на водолаза, с маленькой головой, торчащей из широкого ворота светло-зеленой парусиновой куртки, в кармане которой лежало увеличительное стекло, за мною — непреклонный Максим в голубом благоухающем дождевике, пистолетик просвечивал у него сквозь карман, и рядом с Максом — Тоня в легком, не по погоде, платьице, с раскрытым черным рогатым зонтом над головой. Вся наша затея стала казаться мне несерьезной, я на время забыл и о Кривоносом, и о взломанных ящиках в эркере «бабушкиной Жеки». Отчего не прокатить ребятишек на такси?

Карнавальная группа наша под проливным дождем не вызывала никакого интереса у проезжавших мимо таксистов: один из них притормозил было, когда Маргарита замахала рукой, но, разглядев нас в подробностях, передумал и так пронесся вдоль кромки тротуара, что окатил нас коричневой водой.

Я подошел поближе к Тоне: ей, видимо, было холодно, руки ее и шея покрылись мурашками, губы потемнели.

— Замерзла? — вполголоса спросил я.

Маргарита демонстративно стояла чуть поодаль от нас и красиво злилась: притоптывала ногой, метала в мою сторону убийственные взгляды и пофыркивала, сдувая с губ и носа капли дождя.

— Нет, ничего,— проговорила Тоня.— А куда мы едем?

Вместо ответа я снял с себя куртку, набросил ей на плечи, сам встал к ней под зонтик, пододвинул поближе Максима. Тоня благодарно, как пони, вздохнула и больше ни о чем не спрашивала.

Один только Макс стоял непоколебимый, сунув руки в прозрачные карманы, с тщательно заклеенной дыркой на спине. Он был похож на рыболова на берегу широкой зеркальной реки, по которой проносятся крупные блестящие рыбины.

Вскоре, минут через пять, нервы у Маргариты не выдержали. Она подошла ко мне, потянула меня за локоть. Я выступил из-под зонта, и клетчатая рубаха моя сразу же промокла до нитки, струи воды забарабанили по ней, как по брезенту. Но Маргарите было на это, разумеется, наплевать.

— Послушай,— она подставила дождю свое смуглое сверкающее лицо с разгоряченными щеками и гневными глазами.— Пусть они немедленно отправляются домой! Ну, что мы стоим здесь, как чучела?

Я покосился на Максимку и Тоню — они, похоже, не слышали.

— И ты послушай,— сказал я Маргарите.— Если бы не твоя манера знакомиться с кем попало, мы все сидели бы сейчас по домам, а ты — у себя на даче. Езжай одна куда хочешь, но предупреждаю: я Женькин друг, и не могу так оставить. Я тогда немедленно звоню в милицию. И будет тебе ясность на сто процентов.

Маргарита притихла, она не ожидала такого отпора, но и сдаваться тоже, наверное, не привыкла.

— А вот уж мои манеры,— подумав, не слишком уверенно сказала она,— не в твоей компетенции обсуждать. Ты и так на себя взял слишком много.

Фраза мне понравилась: «Не в твоей компетенции». Надо запомнить.

— Правильно, извини,— согласился я.— Но мнение свое я имею.

— Имей,— разрешила мне Маргарита, и тут она заметила свободное такси, подпрыгнула и замахала руками.

На этот раз нам повезло: такси, это была горбатая «Победа», подрулило к тротуару, и водитель, молодой кудрявый парень, предупредительно открыл нам обе дверцы.

— А деньги есть? — спросил он.

— Вопрос! — отозвалась Маргарита, забираясь на переднее сиденье.

Мы втроем уселись сзади, Максимка устроился у меня на коленях, чтобы удобнее было смотреть в окно.

— Куда это вы таким выводком? — добродушно спросил водитель.— Все дети приличные дома сидят.

— А мы неприличные! — ответила Маргарита.

Она назвала адрес, достала маникюрный набор с зеркалом и принялась вытирать личико платком и вообще охорашиваться. Шофер повнимательнее взглянул на нее, одобрительно хмыкнул и, выведя машину на курс, заерзал на сиденье: готовился к оживленному разговору. А мы там, сзади, для него мелкота, с нами можно было и не считаться.

О чем они там болтали впереди — я не слушал, обычные транспортные благоглупости типа: «А не встречались ли мы с вами в Ивантеевке? Что-то мне до ужаса знакомы ваши черты». Максимка сидел тихо, несколько напряженно, и с неприязненным любопытством разглядывал проносившиеся мимо незнакомые перекрестки в рыжей пелене дождя. Тоня легко дотронулась рукою до моего плеча. Я с замиранием сердца ждал вопроса: «А мама разрешила? Ты с ней говорил?» — но вместо этого Тоня только прошептала: «Промок». Я посмотрел на нее — и совершенно отчетливо понял, что ни о чем-то она не спросит: по ее лицу было видно, что она мне верит безоглядно и самоотверженно. И даже если сегодня Капа скажет ей, что я и не подумал зайти, Тоня не спросит меня ни о чем: пусть не зашел, значит, не мог, значит, так было надо. И мне, ожесточенному и насупленному подростку, стало тепло и уютно рядом с нею, и я захотел, чтобы она это поняла. Я взял ее холодную руку в свою, погладил мягкую, как у ребенка, припухлую ладошку. Ладошка была рябенькая — должно быть, от холода. Тоня, глядя в сторону, шевелила пальцами. Так мы ехали, и каждому было по-своему хорошо.

22

Мы подкатили к подъезду огромной гостиницы, я засуетился, полез в карман за своей жалкой пятеркой, хотя на счетчике было шестнадцать рублей, но Маргарита

проворно расплатилась (к чести ее надо сказать, что она сделала это незаметно и не чванясь) и, уклонившись от ответа на вопрос шофера о телефончике, выскользнула из машины под дождь. Мы неуклюже выбрались за нею следом, зонтик никак не хотел раскрываться: дверца ему мешала. И тут-то, у подножия тяжелого темно-серого здания, под каменным козырьком над входом, я вспомнил, зачем мы приехали, и снова занервничал.

Я сложил зонтик, отдал его Тоне, а она сняла и вернула мне куртку. Накинув теплую куртку на плечи, я почувствовал себя хоть немного увереннее, а то в одной рубашке, да еще мокрой, я был как голый и начал дрожать наполовину от холода, наполовину от волнения.

Ну, что я буду сейчас говорить, если увижу Кривоносого? Никакой линии поведения у меня не было: в самом деле, не кричать же на всю гостиницу: «Держи бандита!» Конечно, лучше будет, если он меня не заметит. А вдруг он вооружен? Я посмотрел на Максимку, который, как завороженный, таращил глаза на вращающиеся двери и в то же время ощупывал лежащий в кармане пистолет, и идея ехать сюда всем выводком показалась мне не такой уж здравой.

— Где вы договорились? — тихо спросил я Маргариту.

— В вестибюле, конечно,— холодно ответила она. В мире такси и гостиниц она чувствовала себя увереннее, чем в своей собственной квартире.— Я пойду вперед, а ты входи минут через десять. Потом пройдешь к газетному киоску, он справа в дальнем углу, там мы и будем сидеть на скамеечке. Посмотришь на него издалека и, если это он, сделаешь вот так...— Она подняла руку, сделав из большого и указательного пальцев колечко.— Запомнил?

— Да уж конечно,— сказал я как можно небрежнее, удивляясь, однако, как это она все придумала, не переставая болтать с шофером такси.— А дальше?

— А дальше — уже не твоя забота,— ответила Маргарита.

— Договорились,— сказал я, про себя понимая так, что именно тогда-то и начнутся мои заботы.

— Кстати,— заметила Маргарита, мельком оглядев мою фигуру в нелепой парусиновой куртке,— тебя могут и не пустить.

— А тебя?

— Меня пустят! — ответила она, гордо вскинув голову.— А после ждите меня на этом самом месте, я отвезу вас домой. И сяду рядом с тобой и буду щипать тебя всю дорогу, потому что... потому что это не он!

— Посмотрим,— сдержанно ответил я.

— Посмотрим!

Маргарита небрежно поправила рукою челку, передвинула поудобнее ремешок сумки и с независимым видом зашагала к подъезду.

Мы с Тоней не без труда уговорили Максимку оторваться от созерцания волшебных гостиничных дверей: братишке моему страстно хотелось в этих дверях закружиться и в то же время боязно было даже об этом подумать. Я заманил его в соседние «Культтовары», пообещав ему пластмассовый свисток, к которому мы давно уже присматривались, нас останавливала только цена — два рубля пятьдесят копеек. У меня, как я уже говорил, имелось пять рублей, билет в метро тогда стоил полтинник, на троих — полтора рубля, и если я найду в кармане завалявшийся гривенник, то хватит еще на эскимо. Я решил так: домой на такси мы не поедем, нам такая роскошь не по карману, а кроме того, мне очень не понравилось хозяйское Маргаритино: «Я вас отвезу». Это в том случае, если Коновалов не окажется Кривоносым. В противном случае, как говорит Женька Ивашкевич, полупенса я не дам за наше возвращение: кто знает, может быть, предстоит проехаться в милицейской «раковой шейке». То-то радость будет юному писателю! Впечатлений хватит на целый год.

Свисток Максимку огорчил: у него не хватало сил выдуть настоящую трель. В другое время Макс раскапризничался бы, но тут он только вздохнул и сунул бесполезную бирюльку в карман: он морально готовился к вступлению в вертящиеся двери.

Мы вновь подошли к подъезду гостиницы, и меня замутило. Вертящихся дверей я и сам побаивался, да и вообще в гостиницах никогда не бывал. Я взял Максимку на руки, выждал фазу (устрашало то, что впереди вместо входного отверстия виден был лишь окованный медью тупик), Максимка крепко обхватил меня за шею, и мы сделали решающий шаг. Все зарокотало вокруг нас,

потемнело, завертелось, настойчиво подтолкнуло сзади — и мы оказались в сухом и теплом вестибюле. Спустив брата с рук, я оглянулся на дверь — Тони не было. Обе двери тяжело и лениво вращались, внутри одной из них вдруг мелькнуло блеклое платье с «фонариками». Видимо, Тоню вынесло на улицу и опять загребло вовнутрь, потому что через минуту я увидел прямо перед собою ее круглое растерянное лицо. Я рванулся вперед, схватил Тоню за руку и втащил ее в вестибюль. Вид у нее был ошеломленный и жалкий.

— Ой, как страшно! — пролепетала она, судорожно оправляя обеими руками платье.— Страшнее даже эскалатора!

И громко засмеялась. Манерности девчачьей в ней не было ни капли: что думала, то и говорила, поэтому с нею было легко. И в то же время я смутно догадывался, что эта легкость — не самоцель в отношениях между людьми. В самом деле, где написано, что с человеком должно быть легко и просто, и тогда это будет хорошо? Тоня была проста и естественна, как речная вода, которую на некоторых языках называют сладкой, а у нас — пресной.

— А где твой зонтик? — сердито спросил я.

Тоня посмотрела на свои пустые руки и охнула:

— Гришенька, на улице остался!

Как приятно совершать подвиги, которые тебе самому недорого стоят! Я мужественно вошел в латунный цилиндр двери, погрохотал на месте и оказался на улице. Зонт валялся на гранитных ступенях, я подобрал его и вернулся «к своим».

— Мне бы знаешь что было! — благодарно сказала Тоня.

«Да уж знаю,— подумал я мрачно,— и догадываюсь, что тебе будет сегодня — из-за меня».

Гостиничный вестибюль поразил нас своей парадностью: высокий, как театральный зал, с двумя ярусами галерей, с прямоугольными мраморными колоннами. Женщина в василькового цвета униформе, сидевшая слева за столиком, внимательно нас осмотрела, но ничего не сказала. Я подвел своих ребятишек к парфюмерному киоску, киоск был закрыт, но сильно благоухал «Ландышем серебристым». Неподалеку между колоннами постав-

лен был мраморный столик, по обе стороны его — пузатые кожаные кресла.

— Сидите здесь,— сказал я Тоне и Максимке,— я схожу и вернусь.

— Гриша, близко не подходи,— умоляюще проговорила Тоня,— чтобы он тебя не заметил.

Максим серьезно посмотрел на меня из-под капюшона и ничего не сказал. Тоня присела перед ним и начала расстегивать пуговки его дождевика, а я пошел между колоннами, чувствуя спиной, как они оба смотрят мне вслед.

В вестибюле было гулко, как на вокзале, людей совсем немного, всего лишь трое-четверо человек неподвижно сидели в креслах, держа на коленях газеты и журналы.

И тут я увидел е г о и Маргариту. У Маргариты достало соображения посадить своего режиссера так, чтобы он не видел моего приближения. Я мог сколько угодно разглядывать узкий остриженный под скобку затылок Маргаритиного знакомца (мода на длинные мужские локоны тогда только-только начинала зарождаться), небрежно расслабленный воротник белоснежной нейлоновой рубашки, торчащие хрящеватые уши с длинными, как у Будды, мочками... И как это я не обратил внимания на уши Кривоносого? Я б по ушам его сразу узнал. Коновалов сидел вполоборота к Маргарите, небрежно бросив руку на спинку ее кресла. Ее лицо, совсем не оживленное, а как бы осунувшееся, маленькое, затерянное среди спутанных дождем волос, я видел прекрасно: Маргарита волновалась, несмотря на свои «сто процентов», абсолютного доверия к собеседнику у нее не было, и большие темные глаза ее напряженно следили за моим приближением. Наверно, она плохо слушала то, что говорил ей, жестикулируя свободной рукой, Коновалов, потому что он вдруг оглянулся, но мельком, и я не успел разглядеть его лица, да и остановился чересчур далеко.

Место для «опознания» Маргарита выбрала все-таки неудачное: чтобы взглянуть Коновалову в лицо, я должен был подойти к газетному киоску (кстати, тоже закрытому. Но, допустим, имею я право посмотреть, что там заперто в шкафах за стеклом?) и затем повернуться, стоя от Коновалова буквально в пяти шагах.

Вдруг за моей спиной раздался оглушительный ми-

лицейский свисток: я подскочил, как вспугнутый кот, подкрадывающийся к вороне, и все неподвижные люди в креслах, как по команде, подняли головы и стали озираться. Коновалов тоже резко обернулся и уставился на меня в полной, очевидно, уверенности, что это я засвистел. Маргарита точно подметила выражение его лица: он морщился, и складки на впалых щеках его по обе стороны тонкогубого рта были прочерчены так напряженно и кисло, как будто бы ему свело скулы. У Коновалова было продолговатое высоколобое лицо... Но это было совсем не то лицо, которое я для себя называл «кривоносым». Глаза его, маленькие, с косо набрякшими веками, вовсе не были сведены к переносице и оказались светло-голубыми, а нос был по-римски надменно и сухо горбат. Бородавки на щеке никакой не имелось. Но в общем, у Маргариты были все основания провести бессонную ночь: в сумерках Коновалова вполне можно спутать с Кривоносым, при условии, что они одинакового роста.

Мое описание затянулось на полстраницы, но наше с Коноваловым взаимное разглядывание продолжалось какой-то миг. Я не оговорился — именно взаимное: он меня тоже разглядывал — с каким-то придирчивым интересом, как кинокамера, если у кинокамеры могут быть маленькие блеклые припухшие глаза. Потом ротик его шевельнулся в иронической улыбке, и, повернувшись к Маргарите, Коновалов что-то проговорил. Должно быть, моя долговязая фигура в парусиновой куртке вдохновила его на замысловатую шутку, потому что Маргарита тоже слабо улыбнулась, не сводя с меня глаз. Я покачал головой («Не он»), медленно повернулся и, размахивая полами куртки, зашагал обратно к парфюмерному киоску.

Уже издали я заметил, что у Тони и Макса осложнения: возле них стояла васильковая административная женщина и, наклонившись к креслу, в котором сидел мой братец, строго с ним разговаривала. Самого Максимки мне отсюда не было видно: он весь утоп в сиденье, и впечатление было такое, как будто женщина разговаривает с пустым креслом, и кресло дерзко ей отвечает, а Тоня, привстав со своего места, силится эту распрю прервать.

«Ага,— сообразил я,— Максимка справился со свистком, надо уносить ноги». Я ускорил шаги.

— Ваш ребенок? — выпрямившись, голубая женщина

посмотрела на меня с восторженной и в то же время напряженной улыбкой. Я рассудил так, что Макс ее чем-то успел рассмешить, а сердиться ей полагалось по должности.

— Мой,— переводя дух, сказал я.

Максимка, бледный, напуганный, но не покорный, сидел в глубине кресла и обеими руками прижимал к груди злополучный свисток.

— Я же вам сказал,— проговорил он дрожащим голосом,— это мне Гриша купил. Вот Гриша.

Я молча забрал у него свисток, сунул в карман куртки.

— Вы здесь кого-то ждете? — по-прежнему напряженно и радостно улыбаясь, спросила меня голубая женщина.— К кому-то пришли?

— Просто замерзли,— ответил я.— Дождь переждать.

— Нет, милый мой! — голос женщины зазвенел от восторга и тоже стал эмалево-голубым.— Ты кого-то ищешь, я за тобой давно наблюдаю!

Перейти на «ты» оказалось для нее так же естественно, как для органолы — сменить регистр.

— Ребенок играет! — храбро вмешалась Тоня.— У нас такая игра.

— Подожди, роднуля, я не с тобой разговариваю,— остановила ее васильковая женщина, и глаза ее, чуть навыкате, вновь с восторженной лаской уставились на меня.— Так кого ты искал? Отвечай!

— Никого,— ответил я хмуро.

— Ах, никого! — Голубая женщина вся засветилась неоном или там ксеноном и замерцала; я никак не мог понять, чему она радуется.— Ах, никого! А вот мальчик,— она показала взглядом на съежившегося Максимку,— а вот мальчик говорит, что вы пришли к иностранцу!

«Ну, дела»! — подумал я и начал потеть.

Тут даже не приводом повеяло: мы как-то незаметно затесались в ряды государственных изменников. А я-то думал, что Макс васильковую женщину рассмешил. Нет, она радовалась другому.

— Катя! — обернувшись, громко сказала она.— Катя, будь добра, позови Владимира Сергеевича.

Максим поднял голову и умоляюще посмотрел на меня. Я пригладил ему мокрую челку и как можно более проникновенно сказал:

— Вы нас извините, пожалуйста, мы сейчас уйдем.

— Что значит «уйдем»? — Женщина нестерпимо мерцала.— Кто это тебе позволит уйти? Фарцовкой подрабатываешь — знаешь, на что идешь. Катя!

Слово «фарцовка», теперь уже полузабытое, было мне хорошо известно, я даже знал одного фарцовщика в лицо. Это был паренек из девятого класса, про него говорили, что он все время вертится у гостиниц, скупая и выменивая у интуристов разное барахло.

— Зачем вы так говорите? — взволнованно сказала Тоня.— С нами ребенок маленький...

— Ребенок должен находиться там, где ему положено,— отрезала васильковая женщина.— Сейчас мы с вами со всеми разберемся. Катя! Ну сколько можно ждать?

Нет, эта женщина не шутила. Уж лучше бы она кричала на нас и топала ногами, хватала за руки, тащила куда-нибудь: по собственному опыту я знал, что в таких случаях легче отвертеться. Перекипел человек, утомился от поднятого им же самим шума — и махнул рукой: «Ай, катитесь! Только чтоб духу вашего...» Но эта женщина не хватала нас за руки. Она стояла, скрестив руки на плоской груди, немолодая, тщательно причесанная, внутренне освещенная, в аккуратной жакетке с белыми кантиками, в длинной прямой юбке, защищенная своей униформой, как стальною броней. Своих детей у нее не было, я так думаю, а если и были, то не позавидуешь этим детям: «Осторожно, мама пришла!»

Я уже и не чаял от нее отделаться, она окружила нас как бы силовым полем. Но в это время у меня за спиной раздался незнакомый мужской голос:

— Не надо нервничать, товарищ. Эти ребята ко мне.

Я обернулся — рядом со мной стоял Андрей Коновалов. На нем был короткий темно-зеленый плащ с каким-то странным красноватым отливом (явно межпланетного происхождения). Коновалов держал руки в карманах и сухонько улыбался.

— Но гражданин! — Васильковая женщина, возвысив голос, распространила вибрирующее поле и на Коновалова.— Во-первых, они утверждают, что пришли на встречу с иностранцем, а во-вторых, они шумят и безобразничают.

— Иностранец — это я,— Андрей Коновалов непри-

нужденно и коротко посмеялся,— а мои гости — это ваши гости. Поднимайтесь, ребятишки, пошли. Здесь дует.

— Приводить гостей в номера не разрешается,— несколько сбавив тон, сказала женщина.— Вам это должно быть известно.

Лицо Коновалова стало утомленным и скучным.

— Мне все известно,— ответил он и повернулся ко мне.— Ты самый главный? Пойдем.

Мы поднялись, Тоня взяла Макса за руку, я подхватил дождевик и зонтик.

— Он? — шепотом спросила меня Тоня.

— Нет, не он,— ответил я.

Она облегченно вздохнула.

Плетясь через вестибюль, Макс все время оглядывался на ужасную женщину. Я тоже обернулся: их было уже две, они возмущенно разглядывали лужу воды на светлом ковре — там, где мы только что страдали.

23

Номер у Коновалова был огромный: как я теперь понимаю, «люкс». По площади ничуть не меньше нашей двухкомнатной квартиры, но меблирован значительно лучше: слегка протертый ковер на полу, овальные «модерные» кресла, обтянутые красным кожимитом... Теперь такие, с позволения сказать, кресла стоят в каждой захудалой парикмахерской, но тогда они были еще в новинку. Шаткий журнальный столик, тонконогий письменный стол, все новенькое, сияющее полировкой, нейлоновые гардины, тяжелые коричневые шторы. За дверью — сумрачная спальня, тоже вся в коврах и зеленых покрывалах с оборками. Роскошь, недоступная уму. Я слышал, что за один день проживания в обычных номерах платят чуть ли не по пятьдесят рублей, во сколько же обходится Коновалову это безумие «люкса»?

Кресел, правда, было всего два, одно заняла поднявшаяся раньше нас Маргарита — она успела уже скинуть свой балахон и достать бензиновую китайскую зажигалку и изрядно отощавшую «Новость». В другое усадили Максимку. Ноги его в резиновых сапогах не доставали до

пола. Тоня уже успела шепнуть ему, что Коновалов — «не он», но Максимка держался скованно и смирно. Коновалов протянул Максу красное яблоко. В этом году мы яблок еще не ели. Максим вопросительно взглянул на меня, я кивнул: «Можно», он принял яблоко обеими руками, но есть не стал, так и держал его, переводя взгляд с меня на Коновалова и обратно. Для Тони и меня Коновалов принес скамеечку с мягким и тоже красным кожимитовым сиденьем, себе пододвинул от стола рабочее кресло. Коновалов был высок, длиннорук и сухощав, костюм на нем был тот самый, о котором упоминала Маргарита, светло-серый в темную тонкую полоску, отлично сшитый и немного чопорный — теперь работники кино одеваются куда небрежнее. Ярко-белая сорочка, галстук с крохотным по тогдашней моде узлом, красновато-коричневый, в тон носкам, в галстуке булавка с темным крупным камнем (думаю, что топазом) и такой же камень в золотом перстне на безымянном пальце левой руки. Словом, образец мужской элегантности, человек с картинки: «Храните деньги в сберегательной кассе», только лицо, немолодое, худое и утомленное, было как бы истрачено непрекращающейся внутренней болью.

— Ну,— проговорил он, усевшись в кресло, подавшись немного вперед и сплетя пальцы жилистых рук,— ну, Григорий, рассказывай, как это я выкрал ключ у Риты Ивашкевич, а ее бабушку убил топором и ограбил.

Я посмотрел на Маргариту. Она, закинув ногу на ногу, хладнокровно курила и демонстративно глядела в потолок, всем своим видом показывая, что происходящее ее нимало не трогает.

— Это были не вы,— сказал я Коновалову.

— Ты уверен? — с насмешкой спросил он.

— Уверен.

— Очень любезно с твоей стороны. А как вообще эта мысль пришла тебе в голову?

— Какая мысль? — переспросил я.

— Не прикидывайся дурачком.— Ноздри Коновалова дрогнули и побелели, уже по этому можно было судить, что он злится.— Я теперь должен доказывать, что в определенное время находился совсем в другом месте. И я, понимаешь ли, хочу знать, с какой стати мне это делать.

Я пожал плечами.

— Мне вы ничего не должны доказывать.

Я хотел сказать, что не нуждаюсь ни в каких его объяснениях, и так все ясно, а получилось, что он будет доказывать не мне, а в каком-то другом месте другим людям. «Ну, и ладно,— подумал я,— как сказалось — так и сказалось».

По правде говоря, я недоумевал: чего от нас нужно этому человеку? Возможно, он хотел высмеять меня и одновременно покрасоваться перед Маргаритой. Но зачем тогда злиться?

— Гриша вообще вас в первый раз видит! — заговорила вдруг Тоня, вся сделавшись пунцовою, и я с досадой на нее покосился: в вертящуюся дверь не может пройти, а туда же — лезет в дискуссию.— Это я ему сказала, что у Риты с вами встреча...

— А ты меня откуда знаешь? — быстро, как ящерица, повернулся к ней Коновалов.

— Я...— Тоня растерялась.— Я вас тоже не знаю.

Минуту Коновалов беззастенчиво в упор смотрел на нее, буквально ощупывая ее взглядом, как конюх лошадку. Под этим взглядом Тоня съежилась и как бы озябла.

— Ве-ли-ко-леп-но.— Коновалов остался доволен осмотром, оставил Тоню в покое, и лицо его кисло и весело сморщилось.— Никто меня не знает — и все гуртом кидаются на меня посмотреть. Так кто же придумал всю эту бодягу?

Словечко «бодяга» еще не успело тогда навязнуть у всех в зубах, и Тоня с Маргаритой — обе разом — фыркнули.

— Кончай ты, Андрей! — сказала Маргарита.— Если ты меня имеешь в виду, то я же тебе все объяснила. Я просто...

Она повела в воздухе дымящейся сигаретой, многозначительно посмотрела на меня. Я сохранял спокойствие: мне-то что — это уже ваши игры.

— Вот то-то и оно, что просто,— ответил, не глядя на нее, Коновалов и выдержал паузу, в продолжение которой Маргарита должна была покраснеть, но краснеть она, по-видимому, не умела.— Что мне теперь прикажете делать? Самому звонить в милицию или ждать, пока вызовут?

Мы молчали.

— Ну, лады.— Коновалов откинулся к спинке кресла.— Так в котором часу ты, Григорий, видел этого человека?

— Примерно перед обедом,— ответил я.

— Блеск и нищета,— Коновалов хрустнул пальцами.— У тебя что же, нет часов?

Я пожал плечами. Откуда у меня часы? Обычно я спрашивал время у взрослых, чтобы подгадать обед к двум, но вчера Сидоров вляпался в вар и спутал все карты. Если бы не это происшествие, мне не пришлось бы идти к Тоне чистить штаны, я не увидел бы чужое лицо в окне Маргариты, а следовательно, не столкнулся бы с Кривоносым. И не сидел бы сейчас в гостиничном номере в обществе этого ненужного мне человека.

— Ты был у меня в половине первого,— сказала Тоня, глядя почему-то не на меня, а на Маргариту.

«О боже мой,— подумал я,— ну, всем известно, что ты меня любишь, что ты готова за меня в огонь и воду. Зачем же это на каждом шагу демонстрировать? Тогда уж повесь на шею табличку: «Люблю Кузнецова» — и так ходи».

— Без пятнадцати час пошел к Ивашкевичам, а вернулся через полчаса. И опять ушел. А в три часа мы пошли тебя искать...

— Никому не интересны эти подробности,— оборвал ее я, и Тоня посмотрела на меня округлившимися от изумления глазами.

— Вот это другое дело,— одобрительно сказал Коновалов.— Значит, без пятнадцати час, и так далее. Но на этот срок у меня, хорошие мои, бесспорное алиби. Знаете, что такое алиби?

Мы, разумеется, знали — все, за исключением Максима. Но Максим сидел тихо, держа в обеих руках яблоко, и серьезно смотрел на Коновалова.

— Посмотрите-ка,— Коновалов сухо улыбнулся,— малыш меня так и просвечивает. Как тебя звать, бесстрашный ловец рецидивистов?

Максимка ответил.

— Как полагаешь, Максим, похож я на грабителя?

— Да, похож,— тихо сказал мой братишка и, зашевелившись, положил яблоко на стол. Он и принял это яблоко из одной только вежливости, чтобы не оби-

деть человека, который вызволил нас в вестибюле.

Тоня охнула, Маргарита захохотала, а я сердито зыркнул на Макса, и он ответил мне растерянным взглядом: а что такого особенного? Спросили — ответил.

— Ну, вот видите, не все так просто, как кажется,— без тени улыбки сказал Коновалов.— Мнение ребенка обжалованию не подлежит...

— Он имел в виду, что вы внешне похожи...— вставил я.

— Это мне как раз и не нравится. Где-то по Москве ходит человек, похожий на меня как две капли воды...

Коновалов выжидающе повернулся ко мне.

— Нет, зачем «как две капли воды»? — возразил я.— Может быть, я неточно описал...

— Очень точно,— перебила меня Маргарита.— Один к одному Андрей Коновалов.

— Ну, словесный портрет — штука слабая,— задумчиво сказал Коновалов,— он срабатывает только в детективах. Скажи, Гриша, на какого-нибудь киноактера этот человек похож?

Я подумал.

— Немного на этого, из «Карнавальной ночи». «Есть ли жизнь на Марсе...» Только моложе.

Все засмеялись. Фильм «Карнавальная ночь» был настоящим событием в тогдашней жизни, остряки раздергали его текст на цитаты, песни из «Карнавальной ночи» были у всех на слуху. Странно и грустновато сейчас вслушиваться в слова этих песен, такие непоправимо старомодные: «Всем хорош тот славный парень был...» Да о чем говорить? Даже строчки: «Наши чувства крепки, как степные дубки» — не вызывали в те времена ни у кого улыбки.

— И не такой смешной,— поспешил я добавить, потому что лицо Кривоносого стало быстро гаснуть у меня в памяти, уступая место лицу ни в чем не повинного актера Филиппова.— Более... более...

Я хотел сказать «более благообразный», но слова нужного у меня не нашлось.

— Остается вспомнить,— заговорил Коновалов,— нет ли среди друзей семьи Ивашкевичей кого-нибудь похожего на актера Филиппова.

Маргарита нахмурилась, припоминая, погасила сига-

рету и стала тут же вытряхивать новую. Коновалов быстро перегнулся через стол и отобрал у нее пачку.

— Ну, во-первых, сам Филиппов у нас бывал...— недовольно сказала Маргарита.— А больше никого такого нету.

— А почему обязательно искать среди знакомых? — спросил я с вызовом.

Мне стало обидно: ищешь, ищешь, ломаешь себе голову, и вдруг какой-то великовозрастный балбес вламывается в игру, как хозяин. Очень мне не понравилось, как Коновалов отобрал у Маргариты пачку: слишком по-хозяйски это у него получилось. И она не удивилась — ни вот на столечко.

— Да потому, что этот человек кое-что знает,— уверенно ответил Коновалов.

Я пожал плечами: что такого особенного знает Кривоносый? Ничем он не проявил своего знания.

— А повтори-ка, пожалуйста, слово в слово, о чем ты его спросил,— потребовал Коновалов.

— «Позовите, пожалуйста, Женю»,— угрюмо сказал я и представил себе: вот я стою на площадке, Кривоносый в дверях, только лицо у него теперь совершенно определенно из «Карнавальной ночи».

— Ну, и что он тебе ответил? — настаивал Коновалов.

Я поднапрягся: вспомнить это было не просто.

— «Женя твой на даче и вернется не скоро, если, конечно, погода...»

— Так,— остановил меня Коновалов.— Ты уверен, что он сказал «Женя твой», а не просто «Женя»?

— Ну, уверен,— пробормотал я.— А какое это имеет значение?

— Он же мог сказать «твоя Женя»,— быстро сказала Тоня и осеклась, встретив мой хмурый взгляд.

— Правильно, хорошая моя,— проговорил Коновалов, отчего Тоня вновь зарделась и потупилась.— А ты, Григорий, не смотри так грозно. В доме есть мальчик и девочка, имя «Женя» годится для обоих...

И Коновалов стал оживленно объяснять мне то, что я давным-давно уже понял.

— Откуда постороннему знать, кого ты имеешь в виду? Парень ты взрослый, вполне можешь ходить в гости к девочкам. Разве не так?

— Он предпочитает, чтобы девочки сами к нему ходили,— заметила Маргарита, но Коновалов оставил ее реплику без внимания.

— Значит,— торжествующе заключил Коновалов,— этому человеку прекрасно известно, кто есть кто в этой семье. У него лицо было не мучнисто-белое, надеюсь?

Я не мог не оценить его юмора: всякому известно, что мучнисто-белыми бывают лица у преступников, совершивших побег с отсидки.

— Нет, нормальное, с загаром.

— Родители Риты сейчас на съемках, если не ошибаюсь, в Сочи?

— В Сочи,— подтвердила Маргарита.

— Так прокрути, Григорий, сначала самую естественную версию,— сказал Коновалов.— Допусти, что знакомец твой проездом из Сочи, Маргарита о нем ничего не знает, а ключ ему дала, например, Ольга Степановна.

«Ольга Степановна — так зовут Женькину маму,— сообразил я.— И Маргаритину, естественно. Спокойно, Григорий, в присутствии неглупых людей ты тупеешь, это опасный симптом».

— Ну, хорошо,— сказал я,— а ящики, а письма? Или Маргарита вам ничего не сказала?

— С ящиками, хороший ты мой, нужно будет сейчас разобраться. Позвонить Александре... Александре...

Коновалов вопросительно посмотрел на меня.

— Матвеевне,— подсказала Маргарита.

Мне показалось, что она только сейчас начала о чем-то, помимо бумаг, беспокоиться. Во всяком случае, во взгляде, который она устремила на своего потенциального режиссера, появилось что-то жалобное. О господи, неужели человеку так невтерпеж сниматься в кино?

Я был несправедлив к Маргарите: так мне самому теперь бывает невтерпеж сесть и опустить пальцы на клавиши пишущей машинки, особенно когда обстоятельства этому мешают. А разве обстоятельства не мешали Маргарите? В ее семье все взрослые весьма прохладно относились к ее кинематографическим амбициям, а ведь она, несомненно, чувствовала свои силы — и, естественно, искала возможности себя показать.

— Вот именно, Александре Матвеевне,— безжалостно игнорируя Маргариту, продолжал Коновалов.— Позво-

нить — и прямо спросить, оставила она что-нибудь в этих ящиках или нет. А не ехать на очную ставку... да еще с милицейским свистком.

— Я нечаянно,— проговорил Максим.

Он, оказывается, не пропустил ни одного слова и «алиби» наверняка тоже запомнил. Теперь придется ему объяснять, а это, можете мне поверить, не так-то уж просто. «Алиби — это когда...»

— Если там лежало что-нибудь ценное,— холодно взглянув на Максимку, продолжал Коновалов,— что-нибудь, чем Александра Матвеевна дорожила, вряд ли она оставила бы это в пустой квартире на целое лето. Впрочем, все это — лишь мои предположения. Ну, так как же? Будем звонить?

Я посмотрел на Маргариту. Она с упреком глядела на Коновалова, такая тихая, скромная, в сером костюмчике, который я заставил ее надеть. И Коновалов сжалился над нею.

— Иди сюда, Рита, радость моя,— сказал он, вставая и подходя к письменному столу.— И сделай то, что давным-давно должна была сделать.

Маргарита медленно поднялась. Она сейчас играла — играла послушную и в то же время лукавую девочку.

— А что я буду говорить? — спросила она.

— Да что хочешь. Авось найдешься.

Соединили не сразу. Маргарита долго стояла с трубкой в руках — мне показалось, что ей хочется опустить трубку на рычаг и с облегчением сказать: «Никто не подходит». Коновалов вернулся к журнальному столику, сел в ее кресло и закурил ее сигарету. А мы с Тоней и Максимкой ждали, что произойдет у нас за спиной. Но молчание было такое долгое, что я не выдержал и повернулся.

— Женька? Бабушку позови,— быстро проговорила Маргарита.— Ай, отстань, не твое дело. Я сказала — бабушку.

Снова молчание. Маргарита села на стол, положила трубку на колени, вздохнула. Мы ждали.

— В саду, с георгинами возится,— с извиняющейся улыбкой сказала Маргарита — и тут же, подхватив трубку, заговорила громким капризно-веселым голосом: — Бабуля? Это я. Да, да. Ну, что ты хочешь сказать? Нужно было — и уехала. Нет, на двухчасовую не успею.

Да, из дома,— она быстро взглянула на нас.— Хорошо, забегу в кафетерий. У меня к тебе вопрос. Я случайно зашла в твою комнату... просто посмотреть, не открыта ли форточка. У вас тоже дождик идет? Да, да, ливень ужасный. А зачем же ты под дождем? Поломало? Ужас какой... Да, так что я у тебя хотела спросить? Уже позабыла...

Коновалов пустил струйку дыма в потолок и тонко улыбнулся.

— Ах, да,— небрежно сказала Маргарита.— У тебя тут в секретерах верхние ящики приоткрыты, так надо? Да нет, я ничего не имею в виду, я просто спрашиваю. Ну, что значит — «как приоткрыты»? Просто чуть-чуть, и пустые. Ой, бабушка, какая ты, ей-богу!..

Она страдальчески и демонстративно вздохнула («Господи, сколько же нужно терпения!»), переложила трубку из руки в руку.

— Я повторяю: я-ни-че-го-не-и-щу. Просто зашла посмотреть. А бумаги твои где?

Молчание.

— Ах, вот как...— Маргарита посмотрела на меня и погрозила кулаком.— Ну, и молодец, ну и правильно, мало ли что... А я ничего и не думала. Проявила бдительность, да. Ротозей — находка для злодея. А ты скажи мне спасибо... Пожалуйста, бабуленька. Нет, писем нет. Денег у меня навалом. Ну, ладно, целую. Целую тебя в обе щечки.

Маргарита бросила трубку.

— Фу! — сказала она.— Камень с плеч. А ты, проклятый Гришка...

Она кинулась ко мне, хотела схватить меня за ухо, я увернулся, тогда она стукнула меня кулаком по спине.

— Из-за тебя всю ночь не спала! Выдумщик несчастный!

Я покосился на Коновалова — он сидел с непроницаемым любезно-внимательным лицом, держа сигарету на отлете, чтобы дым не слезил глаза. Столбик пепла упал ему на колено, но он этого не видел.

— И все равно мы его поймаем! — промолвил Максим, неодобрительно глядя на Маргариту.

А Тоня ничего не сказала, но по ее лицу видно было, что она очень за меня переживает. Действительно, положение у меня было дурацкое, но, как всякий человек,

попавший в дурацкое положение, я злился на Тоню именно за то, что она мне сочувствует. Что оставалось мне делать? Вскочить и, рванув рубаху на груди, завопить: «Да был же он, был Кривоносый! И обещал мне дать пинка!» Но я не стал шуметь и объясняться. Я молча встал, пошел в тамбур к выходу и снял с вешалки свою куртку. Ладно, сказал я себе, не верят — не надо, я им всем еще докажу. Всем выгодно, чтобы я остался дурак дураком: посмотрите, как успокоились Маргарита и Ко-

новалов! Ну, а мне это вовсе не выгодно. И не успокоюсь я, пока не докажу, что я прав.

— Так я не понял,— проговорил после паузы Коновалов.— С бумагами что, все в порядке?

— В полнейшем! — ликуя, ответила Маргарита.— Она их сдала на хранение в музей.

— Предусмотрительная женщина,— заметил Коновалов и обратился ко мне.— Ну как, Григорий, вопросы есть?

Я покачал головой.

— Ну, вот и ладушки,— Коновалов положил сигарету на край пепельницы и, потянувшись, нажал кнопку звонка в стене.— А сейчас мы выпьем лимонаду — за успешное завершение следствия.

— Нет, нам домой пора,— коротко ответил я.

24

Мы вышли из гостиницы без четверти два. Любезный хозяин проводил нас на улицу. Фосфорическая женщина в голубом сделала вид, что нас нету,— она сидела за своим столиком и с преувеличенным вниманием рассматривала какой-то журнал. Дождь уже стих, я нес куртку, Тонин зонт и Максимкин плащ в руках. Коновалов остановил такси и, прежде чем Маргарита успела возразить, дал водителю двадцатипятирублевку и сказал что-то вроде: «Не обижай ребят».

— Созвонимся? — спросила Коновалова Маргарита.

— Да тут уж как,— добродушно ответил он.— Уезжаю я, моя милая. А в Ленинграде у меня телефона нет.

Он сунул руки в карманы плаща и, узкоплечий, долговязый, зашагал к вестибюлю.

Мы с Максимкой и Тоней уже сидели в машине. Маргарита постояла, потом гневно фыркнула и, сев рядом с водителем, с силой захлопнула дверь.

— Ну, ну, красавица, полегче,— сказал шофер.

— Вам уплачено,— бросила ему Маргарита.

— А я вот высажу вас всех,— пообещал шофер,— и деньги отдам.

И тут Максимка тихо заплакал. Он нервничал, должно

быть, все это время, вдобавок проголодался, и угроза шофера оказалась последней каплей, переполнившей чашу горечи: муравьиная душонка его страдала от того, что он даже не представлял себе, в какой стороне находится его дом.

— Держись, Максим! — сказал я сурово.

Маргарита даже не обернулась, она сидела, яростно нахохлившись, и, как леди Винтер, кусала свои красные губы. А Тоня ласково обхватила Макса за плечи и стала тихо говорить ему разные глупости:

— Ну, как же так? Вот мы вернемся домой, а папа уже приехал, и спросит он: «Почему наш Максимочка плакал?» Что мы ему ответим? И Грише попадет.

Я вспомнил, что попадет-то сейчас именно ей, и у меня заныло сердце.

— А ты не знаешь, почему я пла́чу! — всхлипывая, проговорил Максим.— Я яблоко забыл на столе, это мое было яблоко.

— А ты ко мне зайдешь,— утешила его Тоня,— я тебе грибка дам попить, грибок тоже кисленький, полезный...

Еще чего не хватало! Я хотел вмешаться в эту болтовню, но в это время шофер спросил:

— Так мы едем или не едем?

Тоня поспешно назвала адрес, и мы поехали. Это было мрачное путешествие. Максим тихо всхлипывал, успокаиваясь по мере приближения к дому, я горько размышлял о том, что люди верят другим лишь тогда, когда им хочется либо выгодно верить. И эти размышления помогали мне забыть о том, что Тоню — а значит, и меня — ждет сейчас расплата за совершенное мною предательство. Тоня, пытаясь развлечь моего братишку, щекотала ему кончиком косы щеку: она не знала, глупая, что смех от щекотки не унимает слез, наоборот, рыдания становятся еще более бурными. А в это время машина, наполненная нашим молчанием, летела под светло-пасмурным небом по мокрому, блестящему, как зеркало, асфальту, весело подрагивая на каждой попадавшей под колеса луже, и было ей, наверное, хорошо.

Мы подкатили к дому Ивашкевичей, с облегчением вышли. Похоже, Маргарита уже успокоилась: она стояла, сунув руки в карманы своей блестящей мантии, и, чуть склонив голову к плечу, разглядывала меня с сосредото-

ченным любопытством. Я знал, что просто так она не уйдет, за нею должно было остаться последнее слово, и ждал этого слова и не хотел, чтобы она уходила.

— Гришка дурак! — сказала вдруг Маргарита и мало что высунула язык, еще и произнесла при этом нечто вроде: «Ме-э!»

Потом, с сознанием исполненного долга, гордо, как королевская дочь, прошествовала в свой подъезд. Я молча смотрел ей вслед: что бы там ни было, вместе с нею ушел праздник. Есть люди будничные и есть праздничные, это совсем не значит, что первые озабочены только собою, а вторые доставляют радость другим. Как раз Маргарита была только собой озабочена, но я все время видел ее, как в кино, крупным планом, и вот она унесла крупный план с собою, унесла свое гневное, заплаканное и торжествующе смеющееся лицо, унесла свои огромные, во весь экран распахнутые глаза, и все вокруг сделалось не таким, когда за ней бухнула тяжелая дверь.

Тоня стояла рядом со мной и Максимкой, обхватив руками свои голые руки, ее крыжовниковые глаза мерцали, как зеленые дождинки на мокром стекле, ее фигурка, крепкая и в то же время обманчиво слабая, выражала готовность идти за нами, куда я скажу. Должно быть, она решила, что Маргаритина выходка меня обозлила, потому что, выждав какое-то время, она неуверенно произнесла:

— Гриша, а может, ты его и в самом деле не видел?

Она как будто нарочно подстраивала для меня возможность вспылить, и я, мелко, подленько обрадовавшись, взвился.

— А! И ты туда же! — заорал я, так что прохожие стали замедлять шаги и оглядываться.— Вы все меня шизиком считаете! Ну, и катитесь, без вас обойдусь!

— Не кричи на меня, пожалуйста,— тихо сказала Тоня, когда я умолк.— На Риту ты не кричал.

— Все вы одинаковые,— сказал я, сбавив тон, и вдруг она повернулась и пошла к дому.

Это было несколько неожиданно, хотя, в сущности, именно этого я и добивался.

«Вот и славно,— сказал я себе,— теперь, по крайней мере, никто не будет путаться под ногами».

Должно быть, я долго стоял на краю тротуара, потому что Максим подергал меня за рукав.

— Гриша, а Гриша! — сказал он тревожно.— Я тебя шитиком не считаю.

— Не «шитиком», а «шизиком»,— поправил я.— Пойди догони Тоню и отдай ей зонтик. А я тебя здесь подожду.

И Максим, грохоча сапогами и волоча за собой по асфальту зонтик, побежал вперед. Тоня шла, опустив голову, не спеша, как будто ожидая, что ее позовут, и, услышав топот Максима, обернулась. Приняла от него зонтик, погладила его по голове и, взглянув на меня еще раз, вошла в подворотню.

25

Уже на площадке мы с Максом поняли, что папа приехал: от нашей квартиры пахло железнодорожным коксом и другими городами, папа всегда привозил этот запах с собой. Мы зазвонили как сумасшедшие, хотя у меня были ключи, но пока их достанешь!

На пороге Макс подпрыгнул, чуть не выскочив из своего дождевика, папа подхватил его на руки, и мне, как это всегда случалось, пришлось топтаться в отдалении.

— Ну почему, ну почему ты вчера не приехал? — повторял Максим, взяв папу обеими руками за колючие щеки и поворачивая его лицо к себе.

— Да потому, что я приехал сегодня! — смеясь, отвечал папа.— Или ты хотел, чтобы я сегодня не приезжал?

— Нет, я хочу, чтобы ты приезжал каждый день!

— Ну, тогда мне каждый день и уезжать придется.

Я терпеливо ждал: первые минуты, я уже говорил, всегда принадлежали Максимке, и только потом, когда папа предлагал ему заглянуть в чемодан, Макс слезал с его рук и принимался выкапывать из чемодана подарки. На сей раз это оказались игрушки из желтой, сухо звенящей глины, обожженные, но не раскрашенные: паровозик с лихой пузатой трубой, автомобиль с раскоряченными колесами, матерый танк, вот только дуло у не-

го откололось в дороге. Малыш есть малыш, игрушками он у нас не был избалован, и через пять минут, скинув свой дождевик, он уже с увлечением возил эту глиняную технику по полу. Тогда мы с папой и поздоровались.

— Здравствуй, Григорий.

— Здравствуй, папа.

Он похудел и вроде стал поменьше ростом, пощуплее в плечах, лицо его потемнело от дорожной небритости и осунулось.

— Что-то мне глаза твои не нравятся,— сказал папа.— Тебя никто не обижал?

— Ну, что ты,— ответил я.

В юности нам кажется, что взрослые легко удовлетворяются такими ответами, и привыкаем этим пользоваться, даже любя: гораздо проще ведь отмахнуться, чем объяснять. «Ай, мелочи все это, там-потом разберемся». При этом нам невдомек, что «там-потом» может никогда и не наступить. А взрослые просто не хотят быть навязчивыми («Делись, ну, сейчас же делись!»). И тоже ждут этого самого «там-потом», с горечью осознавая, как истекает отпущенное время общения.

— Достается тебе? — помолчав, спросил папа.

— Да нет, мы с Максом ладим,— опять отмахнулся я и для верности обратился к братишке: — Верно, Макс?

— Верно,— отвечал Максимка, ползая у наших ног и даже не поднимая головы.

У этого человека была счастливая особенность: ему нравилось все, что ему дарили.

А на папе был потертый на рукавах и на лацканах какой-то мальчишеский пиджачок, совсем не дорожный — напротив, самый что ни на есть парадный, поскольку другого, лучшего, у него не было. «Самоделкин...» Это пренебрежение к своему внешнему виду казалось мне неправильным: зачем же ронять себя в глазах людей, которые встречают по одежке? Ты пренебрегаешь собой — и другие будут относиться к тебе с пренебрежением. Время от времени я с горестным недоумением задумывался: неужели его боятся там, на объектах, в этом-то пиджачке? Нет, я буду жить не так, я буду жить совсем по-другому.

Мне папа привез игольчатую авторучку — чудо техники по тем временам. «Лучше бы пиджак себе купил»,—

подумал я и тут же бросился ее заправлять, но оказалось, что она уже заправлена зелеными чернилами и пишет ровно и гладко. Почему, собственно, зелеными? А почему некрашеные игрушки? Наш папа просто не мог допустить, чтобы эта великолепная ручка писала фиолетовыми, чтобы Максимкины игрушки были ординарно раскрашены... Такой уж он был человек.

— Ну, готтентоты,— сказал папа,— теперь объясняйте мне, где это вы шастали под дождем.

— Мы в гостиницу ездили,— быстро ответил Максимка, не считаясь с моим старшинством.

Он сидел на полу у моих ног, и я спрятал за спину руки — так велико было искушение стукнуть его по макушке.

— Так,— сказал папа и сел на мою тахту,— отличная новость. Ну, выкладывайте, что у вас за дела в гостинице.

Видимо, Максимка уловил мое, мягко говоря, неодобрение. Он поднял голову, укоризненно посмотрел на меня («Эх ты!») и, демонстративно дудя, покатил свой паровозик на кухню.

По логике ситуации я должен был немедленно рассказать обо всем папе. Но чем он мне мог помочь? Я точно знал: он сразу же отправится к участковому Можаеву, а Можаеву вовсе не улыбается открывать на своем участке «дело о пропавших клипсах», и что я от этого выиграю? Мне будет строго-настрого запрещено продолжать розыски, и я навсегда останусь в глазах стольких людей бездарным вралем. Нет, этого я не мог допустить, тем более что в голове моей начал смутно просвечивать новый план... Воображаю, как замахали бы руками на меня взрослые, если бы я рассказал им об этом плане.

А папа терпеливо ждал.

— Ну,— негромко сказал он после паузы,— случилось что-нибудь? Говори, не бойся.

Я стоял у своего стола вполоборота к нему и делал вид, что поглощен созерцанием подаренной самописки. Вот она, логика взрослых: ну почему сразу «случилось»?

— Да нет,— небрежно ответил я,— тут к Ивашкевичам приехал один из Ленинграда, Рита к нему в гостиницу ездила, ну и мы заодно прокатились.

Порою сам себе удивляешься: столько мелких и бы-

стрых расчетиков происходит в голове почти мгновенно. Я не успел даже осознать, что́ я произнес, а уже почувствовал, что сказалось именно то, что мне было нужно. Я рассчитывал на то, что наш папа к чужим делам нелюбопытен, он удовлетворится одной-единственной фразой, а Максим, если его не расспрашивать, сам рассказывать не станет. Да и кто поверит его лепету о диверсантах, которых мы с ним якобы ловили? И потом — простите, а разве я кого-нибудь обманываю? Просто не хочу попусту волновать.

И вот с этой-то последней, не сразу явившейся, мотивировкой и оформилась окончательно моя ложь. Разумеется, я и раньше обманывал папу по мелочам, но тут была именно настоящая ложь: он меня спрашивал, а я говорил ему заведомую неправду.

Папа взглянул на меня, и, наверное, что-то в моем спокойном лице ему не понравилось.

— И больше ничего? — спросил он, одновременно покачивая отрицательно головой.

Так, я много раз замечал, делают бесхитростные люди, когда хотят получить отрицательный ответ.

— Больше ничего,— ответил я, иезуитски вздохнув.

И тут в дверях детской, как олицетворенная совесть, появился маленький разгневанный Макс.

— Неправда! — закричал он, весь покраснев и протянув в мою сторону руку с зажатым в ней глиняным паровозом.— Папа, это неправда! Гриша видел! Он не хочет говорить, он видел этого диверсанта!

Прищурясь, папа посмотрел на меня — косая челка, чуть седоватая, падала на его высокий загорелый лоб,— и в голове у меня почему-то мелькнуло: нет, боятся его на объектах, боятся. Но это были взрослые, практические, а потому простые дела, я представлялся себе «объектом» куда более сложным.

«Не хочу никого волновать»,— повторил я себе и, усмехаясь, выдержал папин взгляд.

— Это я нарочно придумал,— сказал я после недолгого молчания.— Чтобы Максу было интереснее жить.

Макс растерянно посмотрел на меня, потом на папу, потом опять на меня. Он не удивился моему кощунственному заявлению — он опешил. То, что я сказал, не укладывалось у него в голове — и все. Малыши, как мне

кажется, вообще неспособны удивляться, если что не так — они недоумевают. Постояв на пороге, Макс подошел к папе и протянул ему паровозик, а в другой руке — глиняное колесо.

— Приделай,— сказал он спокойно и деловито, как будто и не кричал минуту назад.

— Игры у тебя...— неодобрительно заметил мне папа и взял у Максимки игрушку.— Ночью ребенок спать не будет...

— Буду,— не глядя на меня, заверил его Максим.— Мне иногда такие страшные сны приснивaются — а я все равно сплю. Смотрю и сплю.

Я еще не понимал тогда, что мой авторитет в Максовых глазах дал первую гигантскую трещину, и это уже трудно поправить. Я упивался своей маленькой (если так можно выразиться) победой, как Колобок, который ушел и от бабушки, и от дедушки, не подозревая, что от лисы ему так просто не уйти.

Поздно вечером я лежал в постели с томиком Конан Дойла из «Библиотеки приключений» (в те времена, чтобы стать обладателем этого сокровища, совсем не обязательно было вступать в какое-нибудь общество озеленения Москвы) и с наслаждением перечитывал страницу, а точнее, всего несколько строчек, которые были сейчас чрезвычайно важны для меня: «Я вижу, вы приехали с юго-запада...» — «Да, из Хоршема».— «Смесь глины и мела на носках ваших ботинок очень характерна для этих мест».

Вообще-то я не очень люблю Шерлока Холмса: он неприятен мне не столько тем, что он напыщен и хвастлив (хотя и это тоже), сколько тем, что автор играет с ним в поддавки, а он этим беззастенчиво пользуется и третирует Ватсона, которому давным-давно следовало с Холмсом расплеваться. Если уж грязь на ботинках, так непременно из этого района, а не из другого, хотя есть тысячи возможностей испачкать ботинки грязью того же юго-запада, даже не побывав там: в метро, например, тебе оттопчет ноги человек с юго-запада, вот и весь разговор. И все же, все же: ботинки Кривоносого были покрыты беловатым налетом, и мне хорошо было известно, как появляется этот налет. Он появляется, когда небрежно смываешь водой налипшую на ботинки глину... Я пред-

ставлял себе ехидненькое лицо сентябрьского Женьки, его ухмылочку («Ну, как вы там... все с Маргаритой обследовали?») — и торжествующе улыбался в темноте.

А еще краем уха я слышал, как на кухне разговаривают родители. Мама пришла с работы взволнованная и окрыленная: прошла генеральная репетиция, сам товарищ Евсиков на ней присутствовал и с большой похвалой отозвался о мамином пении.

— И в каком же платье ты будешь выступать? — с озабоченностью, которая представлялась мне напускною, говорил отец.— Надо бы сшить новое, специальное...

Я представлял себе это специальное платье: ритуальную одежду, расшитую дешевыми блестками, как на тех пожилых матронах, которые поют в фойе кинотеатра «Форум». Мне очень не хотелось, чтобы у моей мамы было такое платье.

— Ай, оставь, ведь тебе же все равно! — небрежно и в то же время досадливо говорила мама, и чувствовалось, что она мечтает о «специальном» платье, в котором будет похожа на жрицу.— Все вы эгоисты, полный дом черствых требовательных мужиков...

— Вот увидишь, как эти черствые мужики будут хлопать тебе на концерте! — отвечал отец.— А почему ты дома никогда не поешь?

— В доме хватит одного певуна,— смеясь, говорила мама.

И под эту полушутливую перебранку я безмятежно заснул. А с чего мне, собственно, было тревожиться? Взрослые тоже имеют право играть в свои игры...

26

Восемнадцатое июля началось как по заказу: с утра комната моя заполнилась прохладно-светлым солнцем, прохладно-темным небом и явственным запахом высыхающих луж. От этого запаха я и проснулся. Покосился на будильник (десять двадцать), вспомнил о своих вчерашних намерениях — и вскочил, как подброшенный. Метнулся в другую комнату — пусто, все прибрано и застелено, побежал на кухню — никого, на столе кастрюлька

с остывшим какао, тарелка, накрытая другою, с завтраком для меня (а для кого же еще?), там лежали ломтики хлеба, вымоченные в молоке и поджаренные, только папа умел это делать, а рядом — записка:

«Мы с опупком ушли покупать баретки».

И под запиской — десять рублей, оставленные, как я понял, мне на кино.

«Опупок» — это был, разумеется, Макс. Он так и написал над этим словом корявыми буквами: «МНОЙ». Папа выполнял свое обещание: он принял малыша на себя и не стал тревожить мой сон. Мне это было на руку, разумеется, и в то же время я почувствовал легкую досаду, что эти двое мною пренебрегли: ходить с отцом по магазинам — это было редкое удовольствие, даже если он ничего и не покупал.

Позавтракав, я стал одеваться «для выхода в люди». Школьные брюки мама от меня спрятала, положила на видное место другие, трепаные, штопаные и короткие, но, в порядке компенсации, вчерашнюю вылинявшую ковбойку заменила на еще не «надеванную» фланелевую рубаху в черную и белую клетку, а еще достала откуда-то из зимнего чемодана лыжную куртку «с кокеткой», я ее, конечно же, игнорировал, поскольку ее обшлага застегивались у меня чуть ли не на локтях. Обувшись и потопав ногами, я с сожалением подумал о новых «баретках», которые мне сегодня наверняка будут куплены (а нужны-то они мне как раз сейчас: в рваных кедах, разговаривая с незнакомыми людьми, чувствуешь себя неуверенно), и, подойдя к столу, принялся пересчитывать свои наличные. Сегодня я был богаче Креза: от вчерашних маминых «суточных» осталось два пятьдесят, в карманах куртки имелась кое-какая мелочь, да еще десятка. Итого — чуть меньше тринадцати рублей, это хорошо, потому что завершающая стадия розысков требовала определенных накладных расходов.

Ладно. Я выглянул в окно — удостовериться, что куртка мне не понадобится,— и увидел внизу Тоню. Опустив голову, она стояла возле моего подъезда и, по-видимому, не собиралась никуда уходить. Я не сразу ее узнал: она была одета во что-то новое, яркое, желто-голубое, только коса и пробор оставались все теми же. Я отпрянул от окна, потому что мне показалось, что Тоня сейчас под-

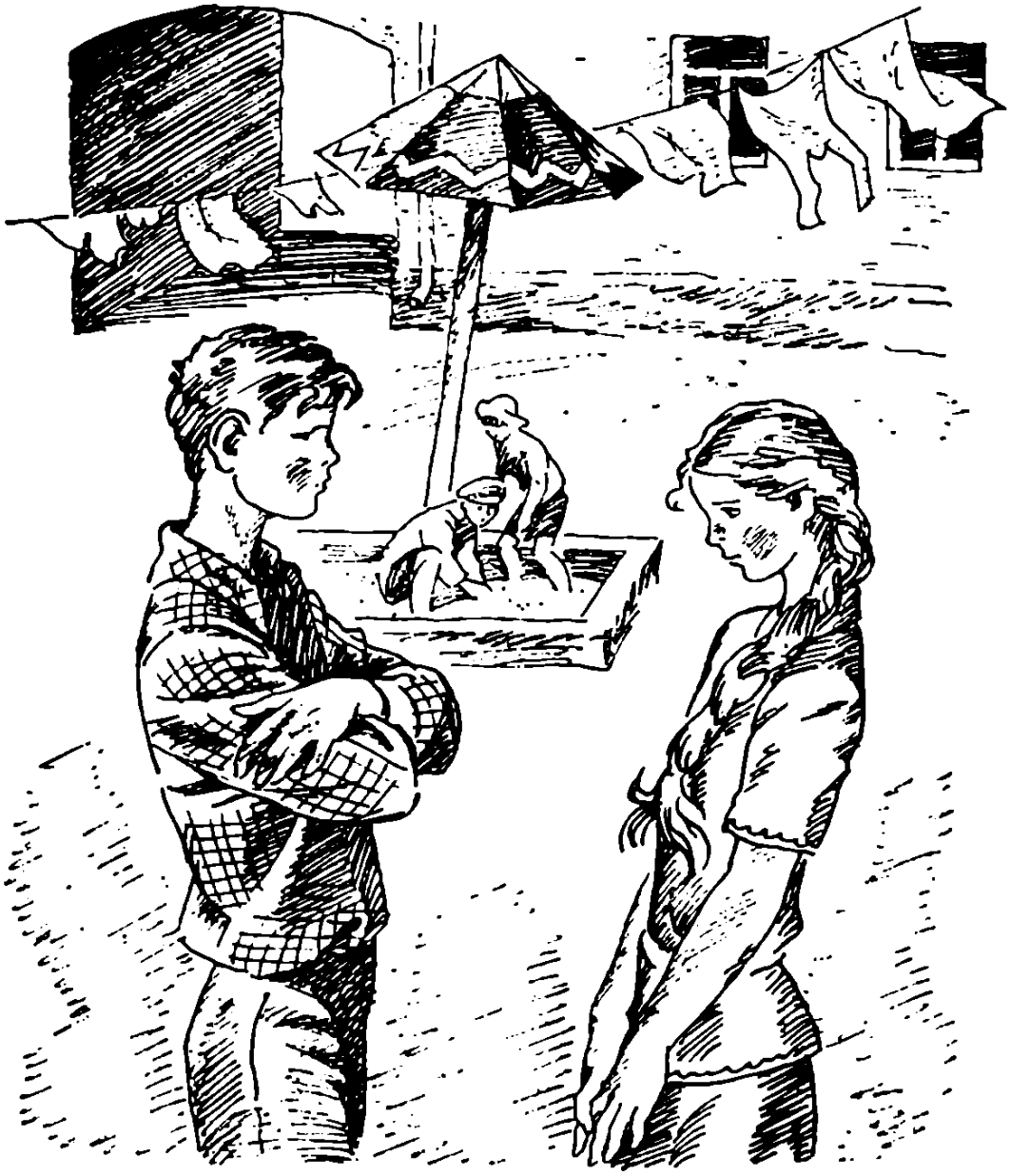
нимет голову. И это было настолько постыдно, настолько трусливо и жалко, что я сначала испугался своей реакции, а потом привычно рассердился на Тоню: «Эк вырядилась, и место нашла у всех на виду, никакого соображения!»

Но чем больше я мысленно на нее ругался, пытаясь себя «завести», тем яснее мне становилось, что встречи не миновать и, может быть, лучше, если это произойдет сейчас, а не через неделю, не через месяц. Тем более что выход на улицу из нашего подъезда был наглухо заперт, и, раз уж Тоня меня дожидалась, то деваться мне было некуда.

И я вышел из квартиры и стал медленно спускаться по лестнице, на ходу примеряя на себя разные личины: праздной беспечности, утомленной злости, угрюмой озабоченности. Ни одна не подходила. И, болезненно ощущая свое лицо беззащитным, открытым, я выступил на крыльцо, на яркий солнечный свет. У меня в голове успела мелькнуть смешная мысль, что хорошо было бы отпустить усы или бакенбарды, а лучше и то, и другое, да еще надеть синие очки. Если так мучается каждый трус и предатель, то мне непонятно, как это люди могут трусить и предавать всю жизнь.

Тоня стояла напротив двери, шагах в десяти, на ней была желтая блузка, голубая юбка с продернутым по подолу желтым шнуром, на ногах — вчерашние (и позавчерашние, и всегдашние) красные, побитые на мысках босоножки с кривыми, стоптанными каблучками, и эти босоножки откровеннее всего выдавали тот простенький секрет, что на этот наряд были брошены все ресурсы, как духовные, так и материальные, а на обувь ресурсов не хватило. Лишь теперь, по прошествии лет, я могу догадываться, что созданию этого наряда почти наверняка предшествовали слезы, примирение и ночное бдение дочки и матери над швейной машиной. Так должно было шиться — не в сказке, а в реальной жизни — платье Золушки, так шьют к детскому утреннику маскарадные костюмы. И все это было ради меня... Но тогда я ни о чем таком не думал, и на ярком солнце Тоня показалась мне похожей на детский надувной мяч. «Наша Тоня громко плачет...»

Тоня очень обрадовалась, увидев меня. Мало кто мне в жизни еще так радовался — безоглядно и преданно. Впрочем, чуткости у нее хватило, чтобы сразу догадаться,



что в ее наряде что-то не то. Она машинально провела руками по подолу с кантом, и лицо ее поблекло от горького недоумения. Ей, наверно, захотелось исчезнуть, превратиться в ветер, в пыль, в солнечный свет. Так мы и остановились друг против друга на глазах нескольких любопытствующих домохозяек — я, обросший густыми синими бакенбардами, и она, желто-голубая, быстро исчезающая на свету. Оставался лишь ее взгляд, в котором можно было прочитать, что она меня давным-давно простила, более того — я вообще не могу быть перед нею ни

в чем виноват. «Гриша, Гришенька, Гриша...» Но я в таких подарках не нуждался. С таким прощением мне стало бы трудно дальше жить.

— Было вчера? — понизив голос, спросил я.

Тоня благодарно улыбнулась и вместо ответа приподняла подол юбки: на обеих ногах ее выше колена видна была длинная и прямая багровая полоса.

— И еще есть, только выше,— смущенно и в то же время словно бы с гордостью сказала она.

— Ну, вот,— вспыхнув, проговорил я,— а ты уверяешь, что она добрая.

— Добрая,— упрямо сказала Тоня.— Побила, а потом сама заснуть не могла.

Должно быть, на лице у меня отразилось сомнение в существовании такой разновидности доброты, потому что Тоня добавила:

— А ты думаешь, было бы лучше, если бы она сказала: «Черт с тобой, шатайся где хочешь»?

Я не стал вдаваться в дискуссию по такому туманному вопросу. Вместо этого я спросил:

— Чем это она тебя?

— Проводом, электрическим,— просто, как о совершенно обычном деле, сказала Тоня.

Эта деталь меня поразила.

— Как ты сказала? Электрическим проводом?

Улыбаясь, Тоня кивнула.

— Да, но это же больно! — возмутился я.— Ладно, мальчишку, я понимаю, но девчонку — как же можно проводом девчонку стегать?

— Странно,— подумав, сказала Тоня.— А мне всегда казалось, что только девчонок и бьют.

Я живо представил себе, как разъяренная Капка размахивает свистящим витым шнуром, а Тоня мечется по тесной комнате, прикрывая голые колени... И все это молча, без единого возгласа, чтоб, не дай бог, в подъезде не было слышно. И никто не остановит, не защитит...

— И часто она тебя? — спросил я, содрогнувшись от жалости.

— Гришенька, когда стóю,— серьезно ответила Тоня.

— А вчера разве стоила? — не унимался я.

— И вчера стоила, и сегодня стóю.— Глаза ее засияли от непонятного мне девичьего восторга. Вообще-то мне не

нравится это книжное выражение — «засияли глаза», но что поделаешь, если они действительно сияли.

— А что она... ну, говорила, приговаривала, когда тебя секла?

Сам не знаю, зачем мне это нужно было знать, но Тоня замялась.

— Или молча? — допытывался я.

— Знаешь, Гриша,— сказала вдруг Тоня,— не надо об этом.

И посмотрела на меня просто и, я бы сказал, мудро, как мама на расшалившегося малыша. А меня обидела и решительность, с которой это было сказано, и снисходительная мудрость ее взгляда. Я вдруг почувствовал, что мямлей эту девчонку не назовешь, и это меня не то чтобы озадачило, но насторожило. Я бы предпочел, чтобы она больше так на меня не смотрела и не решала за меня, о чем надо и о чем не надо говорить.

Выходит, Тоня настолько меня простила, что не нуждалась ни в каких моих объяснениях и вопросах. А знаете, как это могло быть прочитано? «Какой бы ты ни был, что бы ты ни говорил и ни делал, я все равно тебя люблю. Делай, что тебе в голову взбредет, это неважно. Мне даже не нужно об этом говорить: с меня довольно и того, что я тебя люблю». Бывает ли любовь-пренебрежение? Вы скажете: нет. А если подумать?

Вот такие дела.

И я ушел. Ушел так импульсивно и решительно, как уходим мы в юные годы, по наивности полагая, что навсегда — это значит «до завтра» или «до понедельника», на худой конец.

— Ладно, мне пора,— буркнул я.

И ушел — как оказалось, именно навсегда.

27

Был у нас в районе в те годы пункт для внутригородских телефонных переговоров, который все окрестные жители называли «телецентр». Постепенно это название отмерло, потому что оно плодило сотни недоразумений, а потом и сам «телецентр» исчез, теперь в его помещении

работает овощной магазин. Но старожилы (те, которые вместо «Фо́рум» по сей день произносят «Фору́м») еще помнят маленькую сгорбленную старушку, которая, сидя за конторкой возле дверей, вечно в валенках и накинутом на плечи сером шерстяном платке, разменивала мелочь и выдавала потрепанные и морально устаревшие телефонные книги. При этом она беспрерывно говорила (от одиночества, наверно, хотя через «телецентр» за день проходили сотни людей), с кем-то заочно спорила, сама себе возражала, и было жутковато, держа возле уха телефонную трубку, полную длинных гудков, слушать, как Марья Викентиевна разговаривает сама с собою на разные голоса. Я порою приходил в «телецентр», чтобы послушать ее безумные диалоги: мне казалось, что это род телефонного помешательства (или, выражаясь более современно, патологическое воздействие телефонных волн). Причем называть эту старушку нужно было «Марья Викентиевна» — с нерусским продленным «и», в противном случае она возражала: «Моего отца звали Викентий!» — с таким негодованием, как будто это было оскорбление памяти ее отца.

К этой самой Марье Викентиевне (против произношения «Марья», а не «Мария» она не протестовала), в этот самый безумный «телецентр» я и направил свои стопы.

Марья Викентиевна встретила меня страстным монологом на тревожившую ее тему: «Куда же вы меня гоните? Меня, старую женщину, вы гоните на улицу, несмотря на то, что...» — и так далее. При этом она, тряся головой, аккуратно отсчитала мне семь рублей с десятки, а потом выложила на прилавок ровный столбик пятнадцатикопеечных монет. Я потоптался, покашлял. Марья Викентиевна подняла на меня взгляд своих голубых кукольных глаз (почему, собственно, не делают кукол-старушек? Все девчачьи куклы несут в себе противоречие между младенческим сложением и взрослой прической, и никто этого не желает замечать) и, прервав свой внутренний спор, с укоризной заметила:

— Ты мешаешь работать.

— Мне нужен телефон МГУ,— робко сказал я.

— МГУ — это огромное учреждение,— здраво возразила Марья Викентиевна,— состоящее из целого ряда...

Тут вмешался ее внутренний оппонент (как будто и в самом деле на наш разговор наложился мощный всплеск телефонных помех), и другим голосом Марья Викентиевна вскричала:

— Да, но позвольте мне все-таки!..

— А вы человек беспаспортный и бездомный,— теперь уже третьим, баритонистым голосом возразила себе она,— и ничего я вам не позволю.

При этом, что было самое жуткое и интересное, Марья Викентиевна не сводила с меня своих кукольных глаз.

— Меня интересуют профессора МГУ,— переждав «помехи», сказал я.

— Какого факультета? — деловито и буднично поинтересовалась старушка.

Этого я не знал. В другом месте мое незнание торжествовали бы, как свою маленькую победу: «Вот видите, не знаете, а ходите, ходите, а не знаете, так нечего и ходить». Но там работали нормальные люди, а Марья Викентиевна была Марья Викентиевна. Поэтому я сюда и пришел.

— Тогда через отдел кадров МГУ,— сказала она,— вот телефон.

И быстро, как лемур, перерыв цепкими пальчиками пухлую книгу, она нашла нужный номер, каллиграфическим почерком перенесла его на восьмушку бумаги и, укоризненно посмотрев на меня голубыми глазами, протянула бумажку мне.

Я вошел в кабину, озираясь, как воришка, набрал номер дачи Ивашкевичей: это было составной частью моего плана. Теперь мне меньше всего хотелось, чтобы трубку взяла Маргарита: она бы сразу сообразила, что Кузнецов идет по новому следу. Но мне повезло: у аппарата оказался Женька.

— Послушай,— сказал он без всяких обиняков,— что у вас там, в Москве, происходит?

— Да ничего особенного,— дипломатично ответил я,— а что такое?

— «Что такое, что такое»! — передразнил меня Женька.— Ты звонишь Ритке, Ритка звонит бабке, бабка делает мне втык — ни за что ни про что, Ритка приезжает из Москвы смурная, к телефону требует ее не звать, и вот пожалуйста: опять ты. Не считай меня идиотом. Ты

думаешь, я не понимаю, что все это не просто так?

Все-таки временами Женька бывал утомителен, как вулкан Кракатау. Я выждал паузу и сказал:

— Все это лежит далеко за пределами твоей компетенции. Ты мне вот что скажи: твоего тренера зовут Игорь? Игорь. Как его фамилия, знаешь? Не знаешь. А где он живет?

— Та откуда мне знать,— ошеломленный моим натиском, промямлил Женька.— Я ж тебе говорил: где-то там, на Юго-Западе. А чего тебе?..

— Подожди,— перебил его я.— Точнее не знаешь?

— Не знаю!

Женька начал закипать: он не привык, чтобы с ним разговаривали в таком тоне.

— Ладно, бог с тобой,— великодушно сказал я.— Ты про бабушкины бумаги ему говорил?

Минуту Женька молча соображал.

— А, вон ты куда! — проговорил он расслабленным и просветленным голосом.— Значит, все-таки нас грабанули?

— Меня смешит твой интеллект,— возразил я.— Так говорил про бумаги?

Этим самым повторным вопросом я себя выдал — и утратил инициативу. Теперь Женька наслаждался моим нетерпением.

— Про бумаги? — насмешливо переспросил он.— Про какие про бумаги?

Стиснув зубы, я ждал.

— Вот что, милай,— сказал мне Женька.— Выпей брому, скушай джему и жди меня во дворе. Через два часа я буду. Пойдем ко мне, там разберемся.

— К тебе мы не пойдем,— возразил я.

— Это почему?

— А потому что ты ключ посеял.

Это был удар ниже пояса, но Женька довольно быстро оправился.

— Подумаешь! — беспечно сказал он.— Я у Ритки возьму.

— Так она тебе и дала!

— Ну, у бабки!

На эту реплику я ничего не ответил. Женька долго молчал и сопел в трубку, собираясь с мыслями.

— В общем, так,— сказал наконец я.— Ты мне говоришь, какие баки ты заливал криво... в смысле — своему Игорю, а я тебе говорю, где мы с тобой через два часа встретимся. Нет — не надо, обойдусь без тебя.

— Ты ж его не знаешь,— пробормотал Женька.— И в глаза никогда не видал.

Этого мне было и нужно. Я быстренько, без запинки, как стихотворение, повторил свой словесный портрет Кривоносого и не без издевки спросил:

— Ну как, похож?

— Так, вчерне,— нехотя признал Женька.— Ну, давай, говори, где встретимся. Можно часа через полтора...

— Нет, сначала ты! — остановил его я.— Сначала ты скажи: про бумаги был разговор?

— Ну, допустим, был,— буркнул Женька.— А что это меняет?

— Приврал небось? В смысле — присвистнул?

— Да так, самую малость! — Женька хохотнул.— Пушкина туда напихал, Вольтера, Паскаля, Ферма́... всего понемногу.

О Паскале и о Ферма́ я слышал впервые в жизни, и как-то не вязались эти изысканные имена с дураковатой внешностью Кривоносого.

— Молодец! — сказал я.— Ладно, приезжай. Жду тебя на «Маяковке», в конце зала, где нету выхода.

— А почему на «Маяковке»? — спросил Женька.

— Так надо.

Я вовсе не собирался ехать на станцию метро «Маяковская», делать мне там было решительно нечего. Но мне нужно было, во-первых, нейтрализовать Женьку, чтобы он, занятый доро́гой, не предпринял каких-либо самостоятельных шагов, а во-вторых, должен же был я хоть как-то отплатить ему за «ранний интерес к женщинам». Пусть подождет.

Мы назначили точное время, сверили часы (он — свои, я — «телецентровские») и по-деловому распрощались.

В отделе кадров МГУ со мною вначале разговаривали очень сухо. Дать телефон отказались, адрес тоже (я думаю, не надо объяснять, что мне нужен был телефон или адрес вдовы профессора Еремеева): должно быть, мой мальчишеский тенорок наводил их на мысль о назойливом абитуриенте.

— Какую ты школу окончил? — строго спросила женщина из отдела кадров.

Я ответил в том смысле, что еще учусь.

— Ну, и зачем тебе нужен профессор Еремеев? — спросила она, заметно смягчившись.— Ты что, его знакомый, родственник?

На этот случай у меня была заготовлена легенда. Взволнованно и сбивчиво, слегка заикаясь (что мне вообще-то не было свойственно, но тут инстинкт подсказал, что связная речь вызывает впечатление подготовленности), я рассказал, что на дачу профессора Еремеева в поселке таком-то (тут я, естественно, не погрешил против истины) приехали родственники из Сыктывкара, а дверь на замке, а им сказано было, чтобы они ехали прямо на дачу, и московского адреса они не знают и вообще не знают Москвы, а мне все равно было ехать в город, а имя-отчество я впопыхах не спросил, а то бы через справочное бюро...

Про имя-отчество — это тоже была домашняя заготовка.

— А ты откуда звонишь? — спросила женщина.

— С вокзала, конечно,— быстро ответил я.— Люди же ждут.

Счастье мое: ей в голову не пришло, что родственники из Сыктывкара могли бы позвонить с любой соседней дачи.

— Тогда подожди,— сказала женщина,— я сейчас выясню.

И громко закричала:

— Тамара!

О чем они там совещались с Тамарой, не знаю, но в итоге стало ясно, что никакого профессора Еремеева в МГУ нет, и это огорчило не только меня, но и мою собеседницу.

— Ох, уж провинция-матушка,— сказала она.— Для них любой московский вуз — МГУ. А что он читает, твой Еремеев?

— Да он ничего не читает! — возразил я.— Он умер недавно.

— Ах, вот как,— сказала женщина.— Тогда подожди.

И снова закричала:

— Тамара!

По-видимому, без этой Тамары она не могла никак обойтись.

Минуту спустя трубку взяла сама Тамара. У этой женщины, как я и предположил, исходя из ее имени, был густой сочный голос, который в опере принято называть «меццо-сопрано».

— Откуда ты, мальчик? — спросила она.

Я повторил: из дачного поселка такого-то.

— А фамилия твоя?

Я не медля назвался: Ивашкевич.

— Так вот, Ивашкевич,— сказала Тамара,— профессор Еремеев работал не в МГУ, а совсем в другом институте. Наши ездили на похороны, записывай адрес вдовы: Еремеева Людмила Сергеевна... Да ты, наверно, спешишь, позвони ей домой.

И она продиктовала мне номер телефона. Я прочувствованно ее поблагодарил и тут же набрал номер Людмилы Сергеевны.

Звонкий молодой голос ответил мне почти сразу. Я едва успел перевести дух, а ведь надо было переключаться на новую версию: родственники из Сыктывкара здесь могли и не пройти.

— Это квартира профессора Еремеева?

После паузы:

— Да.

— Могу я поговорить с Людмилой Сергеевной?

— Я у телефона.

Это было для меня неожиданностью: мне всегда казалось, что у профессоров жены — профессорши, пожилые и очень медлительные.

— Вам звонит с дачи сын ваших соседей, Женя Ивашкевич.

Тут мне в голову пришла мысль, что Женька наверняка пойдет по моим следам, когда дозреет. И тут ему будет уготована достойная встреча. А поделом: не теряй ключи, не приманивай уголовников.

— Здравствуй, Женечка, милый! — ответила любезная женщина.— Ты что, простудился?

Из этой реплики я сделал вывод, что голос у меня чуть более басовит, чем требуется.

— Да нет, что вы, Людмила Сергеевна,— возразил я, попутно проклиная себя за непредусмотрительность: кто

знает, может быть, «тетя Люда»? Или «тетя Мила»? С именем «Людмила» нельзя шутить.— Тут без вас такое событие. Девушка приехала с чемоданом, сидит на крыльце вашей дачи и плачет...

— Девушка? — заинтересованно удивилась Людмила Сергеевна.— Откуда?

Ей бы сначала спросить, почему плачет, машинально отметил я, а вслух сказал:

— Из Сыктывкара.

— Так,— подумав, промолвила Людмила Сергеевна.— Ну, а я здесь при чем?

Такого оборота я больше всего боялся.

— Я не знаю,— проговорил я,— мне просто бабушка сказала позвонить.

— Как зовут эту девушку? — спросила Людмила Сергеевна.

Это была передышка: я мог назвать ее как угодно.

— Говорит, Алена,— ответил я.

— Алена,— задумчиво повторила Людмила Сергеевна.— Ну, и что же хочет эта Алена?

— Говорит, что ее пригласили отдыхать,— беззастенчиво соврал я.

— Ну, и пусть себе возвращается в Сыктывкар,— сказала Людмила Сергеевна.— Скажи ей, что произошла ошибка, дача пустует, и никто ее не приглашал.

— А она плачет,— проговорил я, стараясь, чтобы мой голос не звучал упавшим.— Так что бабушке передать?

Наступило молчание.

— Надо же, из Сыктывкара,— сказала Людмила Сергеевна.— Вот мазурик.

Тут бы мне и спросить: «Кто?», но у меня хватило ума воздержаться.

— Передай ей, Женечка...— раздумчиво заговорила Людмила Сергеевна.

— Кому? Бабушке или Алене? — уточнил я.

— Ты понимаешь, какое дело,— сказала Людмила Сергеевна, и я затрепетал на другом конце системы «крючок-леска-удилище», как заправский рыбак.— Снимал у меня дачу один... Да ты его, наверно, видел.

Последнее утверждение прозвучало вопросительно, и я голосом простофили сказал:

— Ага. Дядя Игорь его зовут.

— Это приятель сына от первого брака Ивана Ефимовича,— сухо сказала Людмила Сергеевна, и трудно было не заметить, что от этого сына Людмиле Сергеевне, скорее всего, доставалось.

Я молчал, как терпеливый пацан, который только и ждет, чтобы выполнить поручение и, насвистывая, удалиться.

Снова молчание.

— Надо же, из Сыктывкара,— повторила Людмила Сергеевна.— Жалко девчонку, и спросить не у кого. Сын за границу уехал.

— Так что передать? — занудливо спросил я.

На этот раз Людмила Сергеевна раздосадовалась.

— Подожди, не мешай, я думаю, как помочь человеку.

Тут в ее голосе зазвучало сомнение.

— А почему Александра Матвеевна мне сама не позвонила? — спросила она.

— А у нас телефон сломался,— выпалил я давно заготовленную реплику.

— Откуда же ты звонишь?

— С вокзала.

— Понятно.

Людмила Сергеевна снова задумалась. У нее были варианты: например, спросить, не еду ли я домой, на московскую квартиру, и пообещать позвонить туда. Но сама картина «девушка из Сыктывкара, сидящая на дачном крыльце с чемоданом в руках», видимо, ее завораживала.

— Как же до него добраться, до этого негодника? — проговорила она, и это был явно риторический вопрос.

— Ну, я так и скажу, что вы не знаете,— коварно предложил я.

Эта идея Людмиле Сергеевне не понравилась.

— Как это не знаю! — возмутилась она.— Что такое ты говоришь — «не знаю»? Конечно, знаю, только вспомнить не могу... А, постой, вспомнила. Боря телевизор ему возил... Только куда?

«Боря» — это сын Ивана Ефимовича, отметил я.

— Только куда? — повторила Людмила Сергеевна.— Бедная девочка... из Сыктывкара. Плачет, говоришь?

— Плачет,— подтвердил я.— Алена ее зовут.

— Ну, так вот, слушай,— понизив голос, как будто о чем-то догадываясь, сказала Людмила Сергеевна.— Он работает в телеателье на этой, как ее... на Третьей Домостроительной, знаешь?

Еще бы мне не знать: Домостроительные улицы сейчас прокладывались на месте нашей заставы. Юго-Запад, московский Хоршем. Я весь затрясся от возбуждения.

— Если захочет, найдет,— прибавила Людмила Сергеевна, имея в виду Алену.— Сегодня-то вряд ли... Пусть переночует у меня на даче, ключ ты знаешь где?

— Знаю, дядя Игорь показывал,— ответил я, не подумав, потому что рисковал нарваться на вопрос: «Ну, и где?» Но Людмила Сергеевна этого вопроса не задала, потому что тут же пожалела о своем предложении.

— Впрочем, пусть лучше сразу едет,— поспешно сказала она.— Полдня впереди. Они, по-моему, в семь закрываются.

— Я передам,— ответил я.

— Ну, вот и хорошо. Бабушке привет от меня, Ритульке — тоже.

И она повесила трубку, прежде чем я успел подумать, что у Маргариты подруги явно не по возрасту.

Я вышел из кабины, Марья Викентиевна смотрела на меня осуждающе.

— Девочкам звонить можно с улицы,— сказала она.

И тут же, вздрогнув и странно моргнув своими голубыми глазами, заговорила басом:

— А вы мне не мать, вы меня не родили, и уважать вас я не обязана.

28

Вот так и вышло, что в итоге всех этих игр я оказался на окраине Москвы совершенно один — едущим на встречу с опасным, скверным человеком. Впрочем, самой опасности своего предприятия я не сознавал, меня трясло лишь от рыбацкого возбуждения — с такою дрожью смотришь на пляшущий в воде поплавок.

Я сошел с автобуса и увидел себя в преображенном районе, раскопанном, развороченном и застроенном ровными светло-серыми пятиэтажками. Картинка из буду-

щего: стройные ряды клетчатых блоков, разлинованных черной смолой, а между ними — с чертежной тщательностью разбитые скверики.

— Ух ты! — сказал я вслух, найдя все это прекрасным.

Мы ничего другого строить тогда не могли, время «кораблей» и «башен» еще не наступило, о теперешних кольцах многоэтажных домов с фигурными лоджиями никто не мечтал, и новостройка на Домостроительных улицах потрясала своим размахом. От старых городских массивов ее отделяли обширные пустыри, что дало москвичам основание чуть позже назвать эту новостройку Кубой (название ныне забытое).

Праздничной живостью кипела здесь человеческая жизнь: Москва активно расселялась, стряхивая с себя паутину коммунальных квартир, переворашивая старые «мебеля», выбрасывая хлам, готовясь к новой жизни в будущих «башнях» и «кораблях».

Рассказывают, что наш вечный город, как Рим, построен на семи холмах. Подите-ка, определите местонахождение этих холмов — хотя бы приблизительно. Лично мне, кроме Таганской горки, ничего и в голову не приходит. За частоколом домов я уже не мог угадать овраги и пригорки своего раннего детства: широкий проспект с разделительной полосой простирался передо мною, мягко сглаживая рельеф и уходя вдаль, туда, где в сизой дымке огромной стройки нетерпеливо рычали самосвалы и важно поворачивались подъемные краны.

Впрочем, все перспективы здесь просматривались насквозь, и я издалека увидел крупные черные буквы вывески телеателье, прикрепленные прямо к стене бетонной пятиэтажки. Вряд ли на Третьей Домостроительной было еще одно такое. «Третья Домостроительная»... Но если разобраться, намного ли было бы лучше, если бы эта улица называлась, к примеру, «Счастливая»?

Тут в голову мне пришло соображение, что, если уж я вижу окна телеателье издалека, то и Кривоносый разглядит меня намного раньше, чем я подойду. Поэтому, потоптавшись, я повернул в прогал между ближайшими блоками. Миновал несколько законченных, но еще не заселенных корпусов, прошел по краю котлована, ощетинившегося бетонными сваями.

И надо же было такому случиться: я неотрывно глядел на окна здания с черными буквами вывески, а следовало бы смотреть под ноги. И вдруг меня решительно и скользко повело вкось, я увидел свои облепленные желтой глиной кеды упирающимися в голубое небо, затем все вокруг замелькало, заструилось зеленым и рыжим, зачавкало, я услыхал восторженное: «Во дает!» — и поднялся по колено в мутной воде, даже не в воде, а в какой-то субстанции, густотою своей напоминающей ря-

женку. Как в дурацком сне, я увидел горизонт много выше своей головы, точнее, это был не горизонт, а рваный край глубокой ямы, в которую, судя по гладкому желобу на склоне, я скатился спиной вперед. А на краю, в телогрейке, каске, кирзовых сапогах и брезентовых штанах, стоял веселый молодой парень с залихватским рыжим чубом, который из-под каски выбивался.

— С прибытием! — сказал он мне, присев и упершись обеими руками в колени.— И долго ж мы вас ждали!

Я передернул плечами, спина моя ощущала мерзкую задубенелость мокрой грязной рубахи, и дурашливый тон рыжего парня показался мне оскорбительным.

— Давай! — Парень выставил ногу в грубом сапоге, уперся ею в выбоину на склоне и протянул мне руку.— Держи пять, будет десять!

— Не надо,— буркнул я и, чувствуя себя несчастным (дернула ж меня нелегкая надеть почти новую рубаху), на четвереньках полез самостоятельно вверх.

— Давай, говорю! — Возмутившись, рыжий парень потрясал своей короткопалой пятерней перед самым моим лицом.— Чего дурака валяешь?

Глина была как намыленная, руки и ноги мои скользили, и на секунду я склонился к тому, чтобы схватиться за эту надежную пятерню, но тут же почувствовал, что снова еду вниз, в желтую ряженку.

Парень пронаблюдал за моим спуском, потом неторопливо выдернул увязший сапог, выпрямился.

— От мы какие! — одобрительно сказал он.— Ну, езди дальше.

Он повернулся, сделал крупный шаг в сторону и исчез. А я, чертыхнувшись, снова полез наверх, глубоко захватывая пальцами глину, выбивая мысками ступеньки,— и опять съехал вниз, когда до края ямы с куском торчавшей из земли арматуры оставалось буквально рукою подать. Очутившись на дне, я с отчаянием огляделся: ни палки, ни досочки кругом, ничего, кроме месива, и в центре ямы высоко, как постамент памятника, вздымался бетонный цилиндр колодца канализации. А на самом верху его, на недосягаемой для меня высоте, косо лежала, словно сдвинутая набекрень блатная кепочка, тяжелая чугунная крышка люка. Что за глупость? Кривоносый, телеателье, Тоня в желто-голубом, Маргарита в полупрозрачной блузке, Максим в островерхом дождевике, папа и мама — все это осталось там, наверху, и мне представилось вдруг, как они идут чередою по гладко уложенному асфальту, не подозревая о том, как я здесь мучаюсь внизу. И что самое жуткое: минуту назад все было так хорошо, так солнечно, сухо и ясно!

Я с рычанием кинулся к склону и полез, видя перед собою лишь глину и кромку неба. Но теперь я был весь уже скользок, как обмылок, и, не поднявшись до поло-

вины, сполз в свое месиво. Я готов был разрыдаться, но тут в грязь рядом со мною тупо уткнулась доска с часто прибитыми к ней короткими поперечными планками. Я поднял голову — на краю ямы молча стоял рыжий в каске. И, не помня себя от злости, я снова бросился на штурм, игнорируя доску, а она была такая сухая и звонкая, по ней так легко было бы взойти наверх. Я карабкался, помогая себе локтями и чуть ли не подбородком, я не видел ничего вокруг себя, кроме желтой грязи, но я знал, что рыжий парень стоит наверху и сосредоточенно глядит на меня.

С третьей попытки мне удалось наконец протянуть руку и ухватиться за проклятую арматуру. Я поднял голову и увидел перед собою громадные сапоги рыжего парня.

— Отойди! — тяжело дыша, сказал я.

Рыжий отступил на шаг и, сунув руки в карманы, пронаблюдал, как я вылезаю.

— Ну? — спросил он, когда я вылез и сел на краю ямы.

— Ну,— устало и равнодушно ответил я.

— Так и жить будешь? — спросил он.

— Так и буду,— сказал я и, подобрав с земли щепочку, принялся соскребать с себя глину.

— От козел,— беззлобно проговорил парень.

Он вытащил из ямы спасательный трап, легко, как удочку, вскинул его себе на плечо и ушел.

А я присмотрел поблизости лужу почище, с трудом поднялся на ноги и, щедро черпая горстями воду, смыл с себя грязь, где только мог. День был погожий, но не жаркий, и в мокрой одежде я почувствовал, что дрожь моя усиливается. Если до злополучной ямы это был обычный, по выражению Тольки Нудного, «нервный колотун», то сейчас у меня поистине зуб на зуб не попадал, и выглядел я, наверно, не лучше ощипанного индюшонка. Но делать нечего, надо было продолжать путь.

Дрожа на свежем ветру, который в этих местах дул одновременно со всех пустырей, я прошел вдоль стены корпуса, на котором значилось «Телевизионное ателье», и остановился у подъезда. Входить не хотелось. «Давай, Маркиз, давай»,— сказал я себе и по ступенькам, которые кто-то поленился «обжелезить», поднялся к двери.

Ателье помещалось в обыкновенной квартире, дверь была приоткрыта. На прилавке, обитом жестью, стояла

всякая телевизионная рухлядь: выпотрошенный изнутри «КВН» («купил, включил, не работает»), «Авангард» с отломанной крышкой, два «Ленинграда» с задвинутыми шторками. За прилавком рассеянно перебирал бланки крупный плечистый парень в черной дешевой рубашке с простецки распахнутым воротом. Дверь безобразно взвизгнула, парень повернулся, оглядел меня с головы до ног. У него было самоуверенное и в то же время добродушное лицо «нужного человека», припухшие (видать, с похмелья) глаза смотрели весело и спокойно, чуть-чуть подернутые снизу, как у курицы, пленкой снисходительности. В глубине рабочего отсека, за боковой перегородкой, шла какая-то раздраженная возня: хлопали дверцы, шуршали бумаги, передвигались тяжелые предметы.

— Что, ходить учимся? — спросил меня парень в черной рубашке.— Грязи-то натащил. Между прочим, уборщиц у нас нету.

— Дождь вчера был,— пробормотал я, оправдываясь.— Скользко.

— А то я не знаю,— сказал парень, повернулся и ушел за перегородку прежде, чем я успел его о чем-нибудь спросить. Так, наверное, он хотел продемонстрировать свое ко мне пренебрежение: ничего, подождешь.

Я сконфуженно постоял у входа, разглядывая свои захлюстанные штаны. Что-то ежило меня, щекотало, вызывало мурашки, мешало спокойно ждать. Я огляделся — оказывается, я был в приемной не один. На драном стуле в углу сидел клиент в коротком зеленом плаще и читал, широко развернув перед собою газету. В отличие от меня, клиент расположился вольготно, нога на ногу, и я от души посочувствовал его обуви: черные легкие полуботинки его на кожаном ходу были покрыты все тем же мутно-белым налетом, что и у Кривоносого.

Сердце у меня заколотилось так гулко, как будто оно находилось внутри огромного барабана, даже голова загудела. Я рад был присутствию постороннего: мне он не помешает, наоборот, я ведь хочу только вызвать этого самого Игоря, посмотреть на него — и все. Навряд ли при клиенте Кривоносый станет безобразничать. В случае чего, подниму шум.

В это время газета в руках клиента зашелестела, сворачиваясь в воздухе, опустилась ему на колени.

На меня смотрел Коновалов.

Горбоносый, длинноухий, редковолосый, с набрякшими веками, он был по-прежнему в полном параде (костюм, белоснежная сорочка, галстук с булавкой), вот только щеки его и подбородок как будто подернулись изморозью: должно быть, он не брился со вчерашнего дня.

Сказать, что я опешил, означало бы ничего не сказать: я порядком струхнул. Мгновенно представилось мне (много раньше, чем я осмыслил, что́, собственно, присутствие Коновалова означает) — представилось мне, как эти двое, «режиссер» и «тренер», заломив мне за спину руки, волокут меня к ближайшему котловану. Да, но люди на улице, строительные рабочие, тот же рыжий парень, руку которого я оттолкнул. А что рыжий парень? Все делается просто: тащат и приговаривают, что вот, мол, гаденыш, хотел украсть лампы или там конденсаторы, в милицию его, растакого, и мои вопли протеста вызывают у окружающих лишь презрительный смех. Но тут неподалеку, отчаянно гудя, останавливается «Победа», и из нее выскакивает, выламывая из кобуры пистолет, наш Деда — Можаев, за ним, прихрамывая, спешит папа и тащит за руку спотыкающегося Максимку, а сзади — Тоня в ярком желто-голубом, с широкой косой... Но нет, не будет здесь со мною ни Деды — Петра Петровича, ни папы, ни Тони, ни даже Максимки, я всех их обманул, всех их предал, и вот теперь пожинаю плоды. Первым побуждением моим было кинуться опрометью за дверь, но ноги в грязных кедах словно присохли к полу.

Какое-то время Коновалов смотрел на меня невидящим взглядом, как человек, перед лицом которого проносится поезд метро, а он машинально пересчитывает глазами вагоны: так — не так, так — не так, так — не так, так. Потом голубые глаза его подернулись влагой узнавания, маленький ротик искривился в сухой, но приветливой улыбке.

— Батюшки! — громко, с преувеличенной бодростью проговорил он, поднимаясь.— Кого я вижу!

Сухие и жилистые руки его продолжали при этом аккуратно сворачивать в трубку газету, а я не то чтобы пятился — я не мог отодрать башмаки от пола,— но медленно подавался назад, прижимаясь спиною к прилавку.

— Что ж ты так испугался? — улыбаясь, спросил Ко-

новалов.— Ты же брать меня пришел, разве не так?

Чувствуя гадостную сухость в гортани, я приоткрыл рот и покачал головой. Но это была истинная правда: я пришел брать, но не его — еще минуту назад я был уверен, что с линией Коновалова покончено.

— А, ты абориген здешних мест! — догадливо сказал Коновалов, и я поспешно кивнул, хотя ловить меня на неправде погнушался бы сейчас даже ленивый.

Но Коновалова, по всей видимости, мало заботило, где я на самом деле живу. Он подошел ко мне совсем вплотную — так, что мне было видно каждую морщинку на его кисло-веселом лице, облокотился о прилавок и, понизив голос, с заговорщицким видом произнес:

— Все ищешь?

Я молчал.

— Понимаю,— пристально глядя на меня, Коновалов кивнул.— Сюда-то по делу или просто почиститься?

«Почиститься»,— хотел было сказать я, но попробуйте произнести это слово с осипшим горлом.

— Почи...— Я поперхнулся и откашлялся.— По делу.

— Сдох телевизор?

Коновалов придвинулся ко мне еще ближе. Я не спускал глаз со свернутой в трубку газеты, которую он держал в руках: кто-то мне рассказывал, что уголовники заворачивают в газету обрезок свинцовой трубы, потом легонько, как бы шутя, тюкают свою жертву по голове — и, демонстративно пожимая плечами, уходят.

— Нет, не телевизор,— с усилием сказал я.

— Так кто же сдох? — иронически спросил Коновалов.

И как ни странно, именно эти откровенно издевательские слова помогли мне собраться с духом: когда надо мной подтрунивают, я начинаю злиться, а злости мне очень сейчас не хватало. И, обозлившись, я вызывающе посмотрел на Коновалова, прямо в его переносицу, где густо срослись брови, как бы высосавшие его блекло-голубые глаза, и сказал:

— Никто не сдох. Мне нужен Игорь, он здесь работает, вы его знаете. Пусть вернет клипсы, которые он украл.

Коновалов странно посмотрел на меня, почесал согнутым пальцем кончик носа.

— Клипсы? — переспросил он.— Какие клипсы?

Его недоумение было настолько естественным, что моя решимость улетучилась почти мгновенно. «Черт возьми,— подумал я,— человек и в самом деле слыхом не слыхал ни о каких клипсах». Но отступать мне было некуда.

— Может быть, Игорь вам и не сказал о такой мелочи,— угрюмо проговорил я.— Но Рита должна была сказать. Зачем вы притворяетесь?

Не сводя с меня немигающих глаз, Коновалов постучал свернутой в трубку газетой по ладони левой руки, помедлил.

— Похоже, ты все-таки псих,— задумчиво сказал он.— Ну, да ладно. Ты уверен, что тебе нужен именно Игорь?

Я покосился на заляпанное известью окно. Возле крыльца под окном остановились несколько молодых девчонок-работниц, все в рыжих ватниках, в белых косынках. Громко переговариваясь и смеясь, они принялись счищать глину с резиновых сапог о металлический скребок, вделанный в верхнюю ступеньку.

— Абсолютно уверен,— твердо сказал я.

— Ты подумай, лапуля,— проследив за моим взглядом, неторопливо заговорил Коновалов.— Игорь — мой приятель, мой школьный товарищ. То, что ты говоришь, это слишком серьезно. Пока это касалось меня одного, я терпел. Ты не можешь не признать, что я отнесся к твоим домыслам снисходительно... Но теперь, по-моему, ты заигрался. Я еще раз тебя спрашиваю: ты уверен, что Игорь — это нужный тебе человек?

У меня была надежда, что девчонки войдут в ателье. Но они почистились, отсмеялись и убежали.

— Я должен на него посмотреть,— упрямо сказал я.

— Ну, пеняй на себя,— с угрозой проговорил Коновалов и, повернувшись к боковой перегородке, громко крикнул: — Игорек! Выйди сюда на минутку.

Ответом ему была тишина. Шорохи и бормотание в глубине помещения прекратились.

— Вымерли они, что ли? — сказал Коновалов.— Игорь!

Тишина.

— Пойду позову,— выждав паузу, сказал Конова-

лов.— Я тут свой человек. Они мне телекамеру взялись отремонтировать — японскую, понимаешь. Обзавелся на свою голову...

Он по-хозяйски взялся за дверцу прилавка, поднял тяжелую крышку и прошел внутрь. А я остался по эту сторону барьера — взъерошенный, мокрый, грязный, с красными пятнами (я это чувствовал) на щеках, как будто мне надавали оплеух. Уверенность Коновалова меня подкосила. Но как он здесь оказался? Разве это не странно? С другой стороны, два школьных приятеля — один обучает борьбе Ивашкевича Женьку, другой заигрывает с его сестрой, почему бы и нет? Если бы Коновалов знал, что я тут навоображал: свинцовая труба, вывернутые руки, пистолет из кобуры, заброшенный котлован... Я даже озирнулся на неплотно закрытую дверь выхода: а не смотаться ли подобру-поздорову? Но это было бы уже полнейшей капитуляцией.

За перегородкой послышалось тяжкое шевеление. Как будто кто-то огромный медленно поднимался, перебирая руками по стене. «Ясно,— подумал я,— Игорь занят, Игорь не хочет выходить. Нужно тебе на него посмотреть — ступай туда, за перегородку. А там тебе ватник на голову — и до свидания, Кузнецов Гриша...»

Коновалов вернулся один.

— Когда-нибудь,— негромко проговорил он, выходя из-за перегородки и аккуратно прикрывая за собой жидкую фанерную, как на театральных декорациях, дверцу,— когда-нибудь тебе, дорогуля, сделают бо-бо и будут правы. Но сегодня не бойся: сегодня я тебя в обиду не дам. Ты мне нравишься...

— Игорь что, уже ушел? — перебил я его — довольно грубо, чтобы скрыть страх.

Коновалов, прищурясь, посмотрел на меня.

— Идет,— врастяжку произнес он — так, что получилось очень похоже на «идиот».

Парень в черной рубашке вышел с отверткой в руке, глянул на меня с острым любопытством.

— Ну, кому я здесь нужен? — спросил он.

Я покосился на Коновалова — тот, морща в сухой улыбке губы, глядел куда-то в пространство — и робко, почти заискивающе спросил:

— Вы — Игорь?

— Игорь,— парень мотнул головой.

— Вы Женю Ивашкевича знаете?

Чернорубашечник с недоумением посмотрел на Коновалова: и ради этого меня беспокоили?

— Ну.

— Джиу-джитсу его учили?

— Допустим, учил. А в чем дело?

Все было ясно: я проиграл. Я опять проиграл. Этот парень был еще меньше похож на Кривоносого, чем Андрей Коновалов. А вот на тренера, способного продемонстрировать сногсшибательные приемчики, он как раз был похож.

— Нет, а в чем все-таки дело? — с недоброй улыбкой повторил свой вопрос парень в черной рубашке.

И тут Коновалов пришел мне на помощь.

— Видишь ли, Игорек,— небрежно облокотившись о прилавок и поигрывая перстнем, проговорил он,— Гриша тоже хочет записаться к тебе в ученики.

Парень выпятил губы, напустил на себя важность, подумал.

— Нет,— сказал он и покачал головой.— Не сейчас. Осенью пусть приходит.

— Да осенью у него школа,— вновь вступился за меня Коновалов.

— А сейчас не могу,— решительно сказал парень и, посмотрев на меня с высоты своего хорошего роста, спросил:

— Все, что ли?

Я кивнул.

— Ну, бывай.

И он величественно, как актер, отыгравший свою эпизодическую роль, удалился.

Мы с Коноваловым постояли у прилавка, помолчали.

— Опять прокол? — кисло улыбаясь, спросил он.

— Опять,— уныло ответил я.

Коновалов, прикрыв рот ладонью, мило зевнул.

— А может,— сказал он, достав платочек и промокнув уголки рта,— может, мальчика-то и не было?

Я не читал еще «Клима Самгина» и потому не сумел по достоинству оценить его шутку. Не дождавшись от меня ответа, Коновалов вышел на середину приемной,

закинул за голову руки, так что полы его плаща широко распахнулись, с наслаждением потянулся.

— Да, брат Григорий,— проговорил он,— неинтересная штука жизнь. Каждый оживляет ее по своему разумению. А не махнуть ли нам с тобой в ближайший ресторан?

Я словно очнулся от угрюмого оцепенения и удивленно посмотрел вокруг: убогая, как будто нарочно зашарпанная комната, за окном — высокие развалы земли, покрытая желтой жидкой грязью мостовая... Что я здесь делаю? Зачем меня сюда занесло? Я чувствовал вялое, болезненное опустошение, в глазах плыли черные и зеленые круги. Вдобавок меня жарко и знобко трясло: возможно, просто перенервничал, а может быть, так сохли на мне мои мокрые и грязные одежды.

А Коновалов, все еще держа руки со сцепленными пальцами за затылком и приподнявшись на цыпочки, снисходительно смотрел на меня. Он был похож сейчас на великолепного циркача, только что выполнившего рискованный трюк.

— Нет, мне домой,— буркнул я.

— Ладушки.— Андрей снова с хрустом потянулся.— Ты же где-то рядом живешь?

— Да как сказать. В общем-то, не совсем...

Коновалов меня не дослушал.

— Игорек! — крикнул он.— Пообедаю и вернусь!

Никто ему не ответил.

29

Мы шли уже не вдоль котлована, а обычной людской дорогой, мне нечего было таиться, Коновалову — тем более. Я еле волочил свои пудовые башмаки: мне все казалось, что там, позади, в широком окне телеателье, стоит и смотрит на меня белыми глазами Кривоносый. «Хватит, надоело»,— говорил я себе, но неприятное ощущение оставалось, меня знобило.

— Послушай,— сказал вдруг задумчиво и размеренно шагавший рядом Коновалов (ботинки он не жалел, но

очень боялся забрызгать жидкой глиной свои нарядные отутюженные брюки),— еще вчера хотел спросить: а что тебя, собственно, так заело во всей этой истории? Допустим, ты видел человека в чужой квартире, тебе не померещилось. Допустим даже, что это был... ну, мягко скажем, грабитель. Точнее, человек, который не хочет жить как все, не хочет барахтаться вот в этой грязи, не хочет путаться в этих крупноблочных клетушках. Он пришел не грабить, не хапать все подряд без разбору, он явился за бумагами, из которых заурядная старушка хочет состряпать заурядные мемуары. А между тем у этих писем великих покойников есть определенная цена, ну, скажем — десять лет привольной и беспроблемной жизни. Я никого не оправдываю: с морально-этической точки зрения тут не все чисто, но ты-то здесь при чем? Отчего ты с остервенением принимаешься искать этого человека, как будто это твой личный враг? Ведь ты не можешь его ненавидеть, ты в жизни не сталкивался ни с одним преступником, для тебя «преступник» — это отвлеченное понятие...

— Нет, не отвлеченное,— сказал я.— Для меня каждый преступник — это дурак и подлец.

Коновалов ловко перескочил через глинистую лужицу — и остановился так резко, что я на него налетел.

— Ну-ну, валяй дальше...— проговорил он.— Крепко сказано.

— Да, во-первых, дурак, а во-вторых, подлец! — Ободренный его реакцией, я заговорил горячо и уверенно.— Дурак — потому что дожил до старости, до своих тридцати, и не нашел себе разумного дела, чтоб не приходилось прятаться от мальчишки пятнадцати лет. Хочешь привольной жизни — пожалуйста, найди такое дело, чтобы тебе платили, сколько надо, чтоб все тебя уважали и чтоб не приходилось прятаться и стучать зубами. Раз не нашел такого дела — значит, дурак, и не заслуживаешь ты привольной жизни. Да еще и подлец — потому что обманываешь доверчивых людей. Я уж не знаю, кого этот тип обманул, Ритку, Женьку или «бабушкину Жеку» — в смысле Александру Матвеевну,— но обязательно обманул, и обязательно доверчивого человека, это ж так просто, а другого он ничего не умеет.

— Так,— сказал Коновалов, когда я, выдохшись, замолчал,— теперь все до боли ясно. Ты хотел доказать, что он — великовозрастный болван и ничего не умеет, а Гриша Кузнецов, хоть и маленький совсем, но зато умница и любая задача ему по плечу. Правильно понято?

— Правильно,— с вызовом ответил я.

— Но ведь не получилось? — весело спросил он, поглядев на меня.

— Не получилось,— согласился я. Мне было приятно, что Андрей Коновалов, режиссер он там или не режиссер, но неглупый человек, разговаривает со мной на равных. А еще я не без злорадства заметил, что брюки ему таки не удалось уберечь: на них появились жирные нашлепки глины.— Будь у меня транспорт и денег побольше — я бы его достал из-под земли.

— М-да...— неопределенно промычал Коновалов, сунул руку в карман плаща, достал из коробка спичку и принялся ковырять в зубах.

Я не люблю, когда этим делом занимаются в моем присутствии. Мне кажется, это такое же физическое отправление, как и любое другое, которым следует заниматься в полном одиночестве. Даже пещерный житель не стал бы разговаривать с другим человеком и одновременно, скажем, пускать под себя лужу.

— Плохо ты себя знаешь,— помолчав, сказал Коновалов.— Ты, Григорий, хотел доказать, что все без исключения кругом тебя дураки. Вот какая у тебя была сверхзадача.

Мне сразу наскучил этот разговор: только я и ждал всю жизнь, чтоб какой-нибудь плешивый дон-жуан удостоил меня нравоучением. Поэтому я пожал плечами и, ничего не ответив, стал осматриваться.

Я обнаружил, что мы стоим на пустыре посреди котлованов и земляных насыпей, меж которых, как глинистая река, вьется узкая дорога, вся в рыжих наплывах, а на обочине стоит покосившийся желтый столбик автобусной остановки. Со всех сторон буйствовала вздыбившаяся до самого неба глина — где старая, поросшая бело-зелеными листьями мать-и-мачехи, где свежая, стекающая на мостовую. Кругом не было ни души, вдалеке виднелись только желтые верхушки подъемных кранов, да где-то за увалом урчал тракторок. На противоположной стороне

у подножья рыжей горы торчал такой же столбик остановки с помятой жестяной табличкой, а за ним черно и жалко зеленела купа старых вишен, среди которых стояла красно-зеленая беседка, расписанная в свое время моим отцом. Я сразу ее узнал и очень обрадовался. Ну, правильно: под этими вишнями мы, мальчишки, играли в «города» и в «землемера», а в беседке рубились доминошники. Но поделиться своим открытием мне было не с кем.

Я посмотрел на Коновалова (зачем он меня сюда завел? До ближайшей от телеателье остановки напрямую пять минут ходу) — Коновалов спокойно стоял чуть поодаль и ковырял спичкой в зубах, лицо у него при этом было умиротворенно-погасшее.

— Кстати, о транспорте,— сказал он.— Могу подвезти на такси.

— А где такси? — Я огляделся.

— Поймаем,— невнятно проговорил Коновалов, продолжая орудовать спичкой.

И в это время из-за увала вывернул грязный лобастый автобус.

— Да нет, не стану ждать,— сказал я с облегчением.

Чувствовал я себя прескверно: мне хотелось поскорее уехать.

Коновалов внимательно посмотрел на меня своими блеклыми глазами, вынул спичку изо рта.

— Ну-ну,— сказал он, усмехаясь,— ладушки. А скажи, Кузнецов, затряслись у тебя поджилки, когда ты меня сегодня увидел? Ведь затряслись, признайся?

Я гордо молчал.

— Вот что я скажу тебе по секрету,— проговорил Коновалов и, подойдя ко мне совсем близко, наклонился к моему уху, так что я почувствовал его тяжелое нечистое дыхание.— Ты абсолютно прав, друг Григорий: все вокруг действительно дураки. Кроме нас с тобой, естественно. Но доказывать им этого не надо: они не любят. Надо просто уметь этим пользоваться.

Я брезгливо поежился и отступил на один шаг: еще не хватало, чтобы этот тип меня чем-нибудь заразил.

Но Коновалов этого не заметил. Вдруг взгляд его

обострился, стал вдохновенным, он вскинул руку в каком-то вражеском приветствии и трубно закричал:

— Шеф! Эй, шеф! Такси!

Где он усмотрел такси в этом глиняном безумии, среди желтых насыпей, жирных оползней и скользких луж, трудно было даже вообразить. Мой автобус трудно подползал к остановке, разгоняя колесами рыжую жижу.

— Главное, не теряйся: крепко целуй Ивашкевич, чтобы потом не жалеть! — бросил мне Коновалов и, ши-

роко размахивая полами плаща, крупными прыжками помчался через дорогу.

Сидя на покосившемся диванчике автобуса, я посмотрел сквозь дочерна заляпанное стекло — и не увидел ни «режиссера», ни машины. Как будто Коновалов провалился сквозь землю, как будто вздыбившаяся земля поглотила его вместе с перстнем и галстуком.

Но думалось мне об этом вяло, лениво. И так было противно, мерзостно на душе. Я ехал домой, в свой надежно асфальтированный центр, чувствуя звон в ушах, тошноту, головокружение — и полное равнодушие ко всему.

30

Две недели я очень странно болел: без температуры, без кашля и головной боли, просто апатично лежал на своей тахте, накрытый простыней, и неподвижно глядел прямо перед собою, не имея сил ни есть, ни говорить, ни даже шевелить руками. Папа кормил меня с ложечки, Максим подходил к моей постели и настойчиво взывал: «Гриша, Гриша!» Я силился ему улыбнуться, хотел сказать, чтобы он отошел подальше, потому что э т и м можно заразиться, как заразился я, но не говорил ничего, только лежал и смотрел. Нет, я делал все, что было настоятельно необходимо: открывал рот, когда требовал врач, садился и вставал, с усилием отвечал на простые вопросы, но никаких добровольных действий не совершал, даже мысль о том, что неплохо было бы приподняться и повернуть подушку более прохладной стороной,— даже мысль об этом пустяковом движении вызывала у меня сердцебиение и болезненную испарину.

Так я никогда и не узнал, как же прошел тот маленький праздник, к которому долго готовилась моя бедная мама. Папа и Максим были на этом концерте, папа уверял, что мама пела п р о с т о п р е к р а с н о, но, должно быть, что-то оказалось все же не так, потому что больше мама ни на какую самодеятельность не оставалась, и эстрадное платье, заказанное по настоянию отца в

первоклассном ателье, там же, в ателье, было продано.

Хорошо помню день, когда я очнулся от своего оцепенения. Утром Максим вошел в детскую и шепотом спросил, можно ли ему взять мое увеличительное стекло. «Ну, конечно, бери»,— громко сказал я и сам удивился звуку своего бодрого голоса. Было воскресенье, мама и папа мирно чаевничали на кухне. Макс не стал тянуться за увеличительным стеклом, он странно посмотрел на меня, побежал на кухню и закричал: «Гриша расколдовался!»

К чести моих родителей, надо сказать, что они не утруждали меня расспросами даже тогда, когда я поднялся, стал ходить, двигаться и разговаривать, как все нормальные люди. Только перед самым началом школьного учебного года я собрался с духом и рассказал папе обо всем: о явлении Кривопосого, о сатанинской серой «Волге», о нашем с Маргаритой самостоятельном расследовании, о поездке в гостиницу, о феномене Коновалова и о моей злополучной поездке на Третью Домостроительную.

И вот тогда отец сказал мне слова, которые я запомнил на всю жизнь... Позднее я нашел их у Достоевского, но думаю, что отцу они явились сами собой.

— Умный ты парень, да чтобы умно поступать, одного ума мало.

Сколько раз потом корил я себя, что не спросил у отца, что же еще, помимо ума, нужно для того, чтобы поступать умно, но все было как-то не вовремя, стыдно, неловко, а у отца, несомненно, был свой ответ на этот вопрос, ответ, которого я теперь никогда уже не узнаю.

Как раз в тот день Ивашкевичи вернулись с дачи. Я еще не виделся с ними, мне было не по себе, я почему-то чувствовал себя перед ними виноватым. А папа не поленился, пошел к «бабушкиной Жеке», но Александра Матвеевна как-то не очень серьезно ко всему этому отнеслась: бумаги она в доме больше держать не намерена, новый замок Женечка уже врезал, а возбуждать какое-то дело и беспокоить занятых людей у нее нет оснований. «Я прожила свою жизнь так,— сказала она,— что у меня нечего украсть, кроме памяти».

Да, Женечка врезал новый замок — причем по собственной инициативе, приехал для этого специально с дачи, чем очень удивил свою бабушку. Как я и предполагал, после моего повторного звонка он предпринял самостоятельное расследование. Правда, он сделал это с опозданием на два дня: столько времени понадобилось ему, чтобы «расколоть» Маргариту. Женька не без гордости сообщил мне, что кое в чем преуспел: выяснил, что никакого Коновалова на «Ленфильме» отродясь не бывало и что бывший тренер по плаванию и джиу-джитсу на другой день после моего визита в телевизионное ателье съехал с квартиры и исчез в неизвестном направлении. Парень же в черной рубашке, которого мне представили как Игоря, носит совсем другое, ничем не запятнанное имя и на все вопросы отвечает просто и недвусмысленно: «А пошли вы все... не знаю куда».

Ну, разумеется, они меня провели, два подлеца, два наглых, взрослых, сильных, уверенных в своей безнаказанности, сговорившихся между собой подлеца. Стоило мне там, в телевизионном ателье, сделать всего два шага, поднять толстую крышку прилавка и заглянуть за фанерную дверь — я увидел бы там помертвелое лицо К р и в о н о с о г о. Одно только, пусть слабое, утешение: все-таки он меня боялся, этот подлец, прятался от меня, от подростка, сидел там, за перегородкой, скорчившись и стуча зубами, пока более хитрый его сообщник со мной разговаривал.

Мне так и не удалось добиться от Женьки признания, чем он, собственно, их приманил. Точнее, не их обоих, а одного Кривоносого: Коновалов был, очевидно, умнее, Женька не смог бы купить его на свою болтовню. Но в одиночку «тренер» никак не мог справиться, мешала блуждавшая то в город, то на дачу непредсказуемая Маргарита. Сам Женька, охотно обсуждая свершившееся, обрывал меня всякий раз, когда я затрагивал тему в о л ь т е р о в с к и х п и с е м: «Да что тебе далась эта ерунда? Дело в другом!» Он больше распространялся о том, как кривоносый Игорь настойчиво расспрашивал его о планировке квартиры, но мне это представлялось сомнительным: человек с заранее обдуманным намерением не стал бы так долго возиться с Женькой и, уж конечно же, не появлялся бы у Ивашкевичей на даче. А он появлял-

ся — на правах доброго соседа, по меньшей мере, два раза, и Маргарита с ним тоже виделась, но ей и в голову не пришло, что этот «микроцефал» может вломиться в их московскую квартиру. Должно быть, облик элегантного режиссера Коновалова был в ее глазах не таким абсолютным, чем-то он Маргариту тревожил, несмотря на все его «ладушки», и стоило мне подать телефонный сигнал — эти тревоги обрели конкретную форму.

Да, Коновалов был прав: словесный портрет, особенно в любительском исполнении, годится лишь для детективной литературы. Это там, в детективах, по словесным портретам сразу всех узнают: «Высокий, худощавый, темноволосый? Так это ж Петров!» В жизни все не так просто. Малорослый не скажет про коренастого, что тот коренаст: ему даже в голову не придет это слово, а если и придет, то смысл в него он вкладывает совсем не тот, что вы, двухметровый акселерат. В Латвии сказать «блондин» — значит почти ничего не сказать, а грузину будет трудно даже произнести словосочетание «жгучий брюнет». Разве что в ироническом смысле. Густые брови? А что такое «густые»? Гуще, чем у вас? А у вас они дремуче-косматые. Что тогда, кого вы назовете тогда густобровым? Вот и не сработал мой словесный портрет Кривоносого: его лицо стояло у меня перед глазами, нарисованное лишь теми штрихами, которые мне запомнились (Маргарите запомнились другие), я бы узнал этого человека среди тысячи, но стоило мне начать описывать это лицо, как перед глазами слушателей возникали какие-то другие лица, одно с другим совершенно не схожие. Словечко «кривоносый» только запутывало картину: я произносил это слово — и видел т о г о человека, а Женька, к примеру, уверял, что Игорь, несмотря на рыбьи глаза, был, в общем-то, симпатяга (рыбьи глаза! Вы слышали от меня что-нибудь подобное? И можно ли темные глаза назвать рыбьими?), и только Маргарита без особой охоты признала, что Кривоносый в известном смысле был действительно кривонос.

И каково же было разочарование двух подлецов, когда в квартире, которая, по их понятиям, должна была ломиться от ценностей, не оказалось ничего, достойного выноса. Простенькая мебель, ношеная одежда — все это

было не то. Ведь Женька — я его знаю — мог в своих рассказах загромоздить квартиру золотыми куль-обскими вазами, засыпать ее изумрудами и сапфирами, оклеить письмами Ферма и рисунками Дега. И вдруг — ничего, пустые беленые стены, даже старушкины бумаги — и те куда-то девались. Слепой от бешенства, Кривоносый метался по квартире, а Коновалов, не спуская глаз с Маргариты, время от времени давал ему инструкции по телефону (его звонки слышала девушка с четвертого этажа). Мне почему-то кажется, что Кривоносый присматривался к бабушкиным настольным часам («С паршивой овцы — хоть шерсти клок»), но Коновалов запретил ему даже думать об этом: на таких единичных предметах и засыпаются.

Я застиг Кривоносого в тот самый момент, когда он, обескураженный и злой, собирался покинуть квартиру. Этим, наверное, и объясняется таинственный «эффект пропавшего зеркала»: таким опустошенным был взгляд Кривоносого, что у меня в подсознании осталось впечатление пустоты и раззора. Воображаю, как он в эту минуту меня ненавидел. Ненавидел — и боялся. А Коновалов ничего не боялся. Как объяснил мне позднее уже взрослый Максим, Коновалову вообще ничто не грозило, даже на мои показания плевать он хотел. Именно поэтому он так свободно разгуливал по городу, хотя, по логике ситуации, после неудачного ограбления (нет, поправляет меня Максим: после попытки ограбления) ему полагалось бы исчезнуть, залечь в берлогу. Меня, как шпендрика, Коновалов в расчет не брал: единственное, что его волновало,— это слабые нервы его напарника. Он вовсе не считал себя преступником (подумаешь, дело какое — избавить старуху от отягощающих ее бумаг!) и уж тем более не считал себя ни подлецом, ни дураком. Откуда мне было это знать? Мне, никогда в глаза не видевшему ни одного преступника? Мне, самонадеянному мальчишке, который возомнил, что, ежели он не глуп, то все остальные должны падать перед ним ниц.

ЧТОБЫ УМНО ПОСТУПАТЬ, ОДНОГО УМА МАЛО.

Вот, пожалуй, и все, что я хотел рассказать. Да, еще. Совсем недавно на станции техобслуживания «Лад» я

услышал: «Маркиз! Мавританская морда! Не узнаёшь?» Это был Толец Нудный. Грузный, внушительный, с седыми висками и двойным подбородком, в очках, он смотрел на меня из окошка своих «Жигулей» и радостно улыбался. По улыбке я его и узнал: улыбке всегда было тесно в его тонких губах, оттого она выходила чуть-чуть кривоватой. Мы поехали к Женьке Ивашкевичу и хорошо отпраздновали нашу встречу. Женька, нечесаный и заспанный после ночного дежурства (он работал грузчиком в универмаге), встретил нас без особого энтузиазма, за столом начал строить из себя романтика, бросающего вызов жизни, осыпал нас с Тольцом несправедливыми упреками («Конформисты, прилипалы, чинуши!»), но потом расслабился, заблагодушествовал, мы повспоминали наши детские шалости и любови...

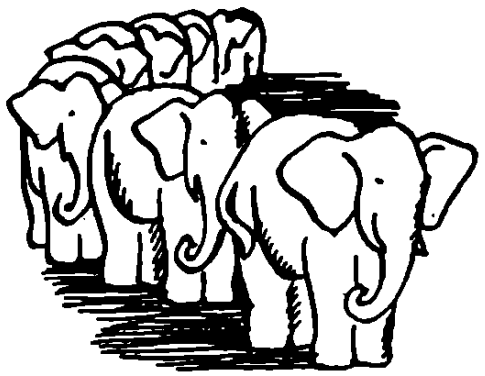
«А ведь ты за Риткой ухлестывал?» — лукаво подмигивая, сказал мне Женька. Я решительно опроверг это возмутительное и порочащее меня утверждение. «Ладно, дело прошлое,— великодушно простил меня Женька.— Рита тоже говорит: ну его, он весь из благополучной семьи, куда нам до него, незапятнанного!» Вспомнили мы и эту давнишнюю историю, которую я взялся рассказывать, да все никак не доберусь до конца: слишком много в ней оказалось замешано живых людей, о которых мне хотелось поподробнее рассказать. Собственно, и задумана была эта повесть после нашей недавней встречи у Женьки Ивашкевича. «А чего? Напиши все, как было,— разрешил Женька.— Маргарита тоже говорит: пусть напишет, если посмеет».

Я и написал, как посмел.

Вы спросите: а Тоня? А что ж Тоня. Мы так и не сдружились с ней больше. Мы отстранились друг от друга с тем, чтобы встречаться почти ежедневно в течение доброго десятка лет, чтобы взрослеть на глазах друг у друга и чтобы без стыда и смятения вспоминать об этих июльских днях 195... года, когда мы были так близки. Тоня рано пошла работать, как и обещала, она стала красивой взрослой девушкой и больше не смотрела умоляюще на меня, когда проходила мимо. По правде сказать, я тосковал по этому тревожному взгляду и недоумевал: неужели все так быстро забывается? Совсем недавно мы стояли друг против друга в покосившейся кабине, и То-

ня шептала: «Гриша, Гришенька, Гриша», как не шептал мне больше никто. Все мне кажется, что в тот телефонный вечер была она в желтом и голубом, хочется думать, хоть я и понимаю, что этого быть не могло. Больше я не видел на ней никогда этого сшитого за одну только ночь наряда: сгорело голубое и желтое, вспыхнуло и сгорело за один раз, как светлое чистое пламя.

1984



К читателям

Отзывы об этой книге просим присылать по адресу: 125047, Москва, ул. Горького, 43. Дом детской книги.

*

Для среднего и старшего возраста

Валерий Алексеевич Алексеев

ИГРЫ НА АСФАЛЬТЕ

Повесть

ИБ № 9751

Ответственный редактор Н. С. Аравина
Художественный редактор М. Д. Суховцева
Технический редактор И. П. Савенкова
Корректоры Г. Ю. Жильцова, Г. В. Романова

Сдано в набор 04.08.86. Подписано к печати 24.12.86. А10361. Формат 84×108 1/32. Бум. книжно-журн. № 2. Шрифт обыкновенный. Печать высокая. Усл. печ. л. 10,08. Усл. кр.-отт. 11,34. Уч.-изд. л. 10,64. Тираж 100 000 экз. Заказ № 4031. Цена 65 коп.

Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.

Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 127018, Москва, Сущевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»